

Людия Царская



Сестра Марина

Люсина жизнь

Дорога к счастью

Лидия Чарская

**Сестра Марина. Люсина
жизнь (сборник)**

«ЭНАС»

1913, 1915

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)-44

Чарская Л. А.

Сестра Марина. Люсина жизнь (сборник) / Л. А. Чарская —
«ЭНАС», 1913, 1915 — (Дорога к счастью)

ISBN 978-5-91921-042-9

В книгу включены две почти забытые сегодня сентиментальные повести известной писательницы начала XX века Лидии Алексеевны Чарской – «Сестра Марина» и «Люсина жизнь». Для старшего школьного возраста.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)-44

ISBN 978-5-91921-042-9

© Чарская Л. А., 1913, 1915
© ЭНАС, 1913, 1915

Содержание

О книге и ее авторе	7
Сестра Марина	8
Глава I	9
Глава II	13
Глава III	17
Глава IV	20
Глава V	23
Глава VI	29
Глава VII	35
Глава VIII	39
Глава IX	44
Глава X	47
Глава XI	53
Глава XII	61
Глава XIII	66
Глава XIV	71
Глава XV	76
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Лидия Чарская Сестра Марина Люсина жизнь

Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви

Серия «Дорога к счастью»

© А. Власова. Обложка, иллюстрации, 2013

© ЗАО «ЭНАС-КНИГА», 2017

* * *



О книге и ее авторе

Лидия Алексеевна Чарская (настоящая фамилия – Чурилова, урожденная Воронова) родилась в 1875 году в Царском Селе. Отец девочки был военным инженером, полковником. Семья жила в достатке, родители любили свою дочь, но вскоре при родах умерла мать Лиды, и через какое-то время отец женился во второй раз.

Лида долго не могла примириться с появлением ненавистной мачехи. Девочку отправили в Петербург – в Павловский женский институт, где она провела 7 лет. Суровая дисциплина, постоянная зубрежка, скудная еда, грубая одежда – все это поначалу отталкивало и возмущало ее. Но впоследствии писательница признавалась, что годы учебы многое ей дали: она стала терпимее, сдержаннее, увлеклась чтением и сочинительством.

Весной 1893 года Лидия окончила с медалью институт. И тут же вышла замуж за блестящего офицера Бориса Чурилова. Брак был недолгим – вскоре Чурилов отбыл на место службы в Сибирь, а молодая женщина с крохотным ребенком на руках осталась одна. В родной дом она не вернулась, хотя и подружилась с мачехой, – ее влекла самостоятельная жизнь.

Окончив театральные курсы, Лидия поступила в Петербургский Александринский театр, где играла второстепенные роли до 1924 года. Сценическим псевдонимом Чарская она подписывала и свои литературные произведения.

В 1901 году журнал «Задушевное слово» напечатал первую ее повесть «Записки институтки», принесшую начинающей писательнице необычайный успех. С тех пор повести Чарской появлялись в этом журнале ежегодно. Они стали невероятно популярны среди детей и юношества в дореволюционной России.

Любимыми темами писательницы были приключения брошенных, потерянных или похищенных детей («Сибирочка», «Лесовичка», «Щелчок») и жизнь воспитанниц закрытых институтов («Княжна Джаваха», «Белые пелеринки», «Большой Джон», «Юность Лиды Воронской» и другие). Герои ее книг добры, честны, отзывчивы, открыто проявляют свои чувства.

После 1917 года судьба писательницы резко изменилась. С приходом советской власти ее перестали печатать, не простив писательнице ее дворянского происхождения и «буржуазно-мещанских взглядов». Книги Чарской были изъяты из общественных библиотек как вредные для советских детей. За ними все больше укреплялись определения «мещанские», «пошло-сентиментальные».

Произведения некогда известной русской писательницы надолго были преданы забвению. Ее книги стали выходить в России лишь в конце 1990-х годов – и нашли своих читателей. Ведь все они рассказывают о доброте и любви к ближнему, о сострадании и самоотверженности, об отзывчивости и человеколюбии, о желании отозваться на чужую боль и бескорыстии – словом, о тех человеческих качествах, которые востребованы во все времена.

В книгу включены два произведения Лидии Алексеевны Чарской.

Героиня повести «Сестра Марина», сирота, взятая из милости богатой дальней родственницей, сбегает из дома и поступает в общину сестер милосердия. Там она находит не только свое призвание, но и семейное счастье...

Трилогия «Люсина жизнь» рассказывает о взрослении непоседливой девочки-дворянки, живущей в имении отца в российской глубинке, о ее девичьих переживаниях и первой любви.

Сестра Марина



Глава I



В доме генеральши Махрушиной встают поздно. Даже прислуга позволяет себе некоторую роскошь – подниматься не раньше восьми часов. Поэтому, когда на больших бронзовых, в виде скачущего рыцаря, часах на камине в гостиной пробило шесть, в огромной, роскошно обставленной барской квартире все еще спят крепким сладким утренним сном.

Только в дальней, находящейся в самом конце коридора, комнатке – в «Нютиной келье», как ее называют домашние, – наблюдается некоторая жизнь.

Электрическая лампа под абажуром в углу освещает комнату. Все здесь просто и уютно: небольшой диван, кожаные кресла, круглый столик, этажерка с книгами, узенькое трюмо в углу, за ширмой – умывальник и кровать. На полочках и стенных этажерочках – бюсты великих людей: Пушкина, любимого Нютино́го поэта, Гете, Шекспира.

Сама Нюта, тоненькая, стройная, невысокого роста девушка, с очень худеньким, бледным лицом, которому мертвенный свет электричества придает несколько болезненный оттенок, с большими детскими, как бы что-то ищущими, пытливыми глазами под нахмуренными линиями темных бровей, с небрежно закрученным на затылке белокурым узлом непокорно выющихся волос, стоит на коленях посреди комнаты над раскрытым ручным саквояжем. Тут же, подле нее, на диване, разложены две-три смены белья, необходимые принадлежности туалета, запасная блузка из темного люстрина¹ для каждого дня, пара мягких туфель, полотенце, небольшая подушка-«думка» и маленький серебряный образок – благословение покойной матери.

Нюта, сосредоточенно хмурия темные брови, убирает дрожащими руками вещи в саквояж. Она заметно волнуется... Надо поспеть во что бы то ни стало с уборкой, пока не проснутся в доме... Не дай Бог, если кто-нибудь увидит... Хоть одна душа... Донесут – и тогда все пропало, все...

Эта мысль ударяет как молотом в белокурую головку девушки, бросает пятна румянца на ее худенькое лицо с несколько крупными большими бледными губами.

– Господи, помоги мне! – шепчут эти губы, а дрожащая рука усиленно крестится быстрыми мелкими крестами...

Наконец все готово. Необходимые принадлежности багажа исчезли в глубине ручного саквояжа, и Нюта с легким вздохом самоудовлетворения поднимается с колен.

– Теперь одеться скорее и... и с Богом!

Она подходит к трюмо. Гладко отполированная поверхность зеркала отражает тоненькую, худенькую фигурку в изящном (о, слишком даже изящном, к глубокому огорчению Нюты!), сшитом по последней моде платье, делающем ее похожей на барышню из аристократического дома.

¹ Люстри́н – полушерстяная или шерстяная ткань с глянцем.

Нюта смотрит на свое нарядное платье вычурного фасона, и горькая усмешка скользит по ее губам, когда она шепчет:

– Еще бы! Нельзя было сделать хуже, нежели у Женни. О, эта педантичная справедливость tante Sophie²!.. Сколько стоила она мне слез и горя! Ведь не любовь это, нет, а боязнь, чтобы свет (ах, этот свет!) не подумал: «Родную дочь балует и любит, а племянницу держит в черном теле»... Слава Богу, скоро... скоро теперь... сейчас избавлюсь от всего этого. Никого, никого не жалею, только Марину. Милая она... Но чем же рискует Мариночка?.. Душа моя! Отплачу ли я тебе когда-нибудь за все это!..

Зеркало отражает взволнованное бледное лицо, дрожащие губы и блестящие слезами серые глаза. Нюта проворно смахивает слезы, надевает шляпу... Шляпа эта – темного фетра с большим страусовым пером.

Слишком нарядная шляпа...

Но что делать?! Она выбрала самую скромную. Другие – еще наряднее, светлее. Эта хоть темного цвета, и то спасибо. Ах, тетя, тетя!

Шляпа заколота... перчатки надеты... Длинный, покроя сюртука, английский жакет прикрыл тоненькую миниатюрную фигурку. Саквояж в руках.

– Теперь живо!

В последний раз Нюта окидывает глазами свою «келейку», небольшой диван, на котором так сладко грезилось с томиком поэта в руках, письменный стол, бюсты любимых классиков... Милая келейка! Как трогательно отстаивала ее независимость Нюта, когда генеральша Махрушина хотела во что бы то ни стало устроить гнездышко племянницы по образцу комнаты ее дочери, высокой вертлявой светской барышни Женни. Вся энергия Нюты обратилась тогда в один протестующий вопль. Пусть мучают ее самое, Нюту, модными покроями костюмов, изысканными фасонами шляп, но не уродуют ее келью ненужными, быющими на эффект украшениями, булями,³ столиками. Ей нужен свет и уют, и больше ничего.

Она подходит к столу, берет с него записку, написанную еще накануне с вечера, и шепотом читает ее:

«Дорогая тетя!

Не сердитесь, умоляю вас, на вашу злую, неблагодарную Нюту. Но такая жизнь мне больше не по плечу... Я уезжаю к бабушке в Иринкино... Забудьте меня. Благодарю вас и Женни за все, что вы сделали для меня.

Нюта».

Прочитав записку, она кладет ее на прежнее место и легким призраком, на цыпочках, проскальзывает в дверь.

* * *

Тихо в коридоре... И во всей квартире тихо, как ночью...

Робкий шелест Нютиных юбок едва-едва нарушает эту тишину.

– Скорее! Скорее!

Сердце Нюты стучит так громко, что, кажется, готово поднять на ноги весь дом. Румянец то приливает к лицу, то отливает к сердцу. Шум в голове, стук в висках и неприятная сухость в горле.

Слава Богу, коридор пройден. Сейчас гостиная, большая зала и японский будуар Женни. Если кто-нибудь из прислуги производит в этот ранний час уборку комнат, о... тогда – горе ей,

² Тети Софи (франц.).

³ Буль – здесь: предмет мебели, украшенной черепаховой инкрустацией и золоченой бронзой.

Нюте. Ее задержат. Пойдут будить tante Sophie. Начнутся упреки, обмороки, истерики, слезы... Нет! Нет! Невозможно! Сердце вдруг перестает биться в груди Нюты... Она стремительно распахивает дверь...

В тот же миг что-то теплое, мохнатое, огромное бросается на нее.

Громкий крик испуга готов сорваться с уст девушки. Но она вовремя подавляет его.

– Турбай! Голубчик! Не узнал, глупый!

Ее дрожащие руки обхватывают мохнатую шею и прижимают к груди огромную голову геркулеса-нюфаундленда.

– Милый! Милый! Один ты любил меня здесь! Один, голубчик! Прощай, Турбаинька! Уходит Нюта! Навсегда уходит от тебя!

Умные, преданные глаза собаки поблескивают в осенней утренней мгле гостиной. Горячий влажный язык уже успел облизать лицо, волосы и руки девушки. Собака тихо визжит, точно понимая, что лаять нельзя.

Когда Нюта, нацеловав вволю сквозь слезы мохнатые бело-черные уши и такую же пеструю голову, скользит по направлению к передней по длинной анфиладе комнат, Турбай, бесшумно ступая огромными мохнатыми когтистыми лапами по коврам, идет вслед за ней.

В передней – большой красной, под «адское пламя», комнате, с оленьими рогами вместо вешалок и головами-чучелами лосей по стенам – Нюта останавливается, еще раз гладит Турбая и неожиданно распахивает входную дверь. Распахивает и захлопывает сразу. Этот неожиданный маневр наполняет негодованием преданное собачье сердце.

До сих пор четвероногий друг еще надеялся, что его молоденькая хозяйка возьмет его с собой в этот ранний час. Но, обманувшись в своих ожиданиях, Турбай громкими негодующими звуками заявляет свой протест...

Теперь он уже не стесняется больше. Громкий неистовый лай огромного животного наполняет сразу весь дом.

Турбай лает ожесточенно, изо всех сил, всем своим существом. Эти жуткие звуки несутся вслед за Нютой, с отчаянной стремительностью сбегающей с лестницы.

– Силы небесные! Он разбудит весь дом!

Миниатюрная фигурка прыгает через три ступеньки вниз, затаив дыхание, прислушиваясь к тому, что происходит за ней.

– Скорее! Скорее!..

Швейцар Модест, почтенный старик с большой серебряной медалью на шее, успевший только что выпить стакан кофе, подмести лестницу и накинуть ливрею, с удивлением оглядывает барышню. «В такой ранний час и одна? Куда могла собраться в такую рань генеральская племянница? – является невольно мысль в голове старика. – Ни мало ни много, а ведь едва лишь пробило семь часов».

– Доброго утра, барышня, – говорит он своим несколько хриплым голосом.

– Здравствуйте, Модест! – отвечает Нюта. Голос ее срывается и дрожит. Что, если остановит, не пустит, позовет прислугу? Что, если догадается старик?

Ей уже кажется, что глаза Модеста как-то особенно подозрительно впиваются ей в лицо, а губы точно складываются для того, чтобы спросить: «Куда это в такую рань собрались, барышня?»

Но волнение Нюты преждевременно. Ее страх напрасен.

Модест предупредительно распахивает перед ней дверь и, косясь на ручной саквояж, бросает лаконическую фразу:

– Прикажете извозчика кликнуть?

Нюта вздрагивает всем телом.

– Нет! Нет! Я сама. Не надо.

И как-то боком протискивается в дверь и быстро-быстро выбегает на улицу.

На улице осенний дождь, слякоть. Лужи воды на тротуарах. Утренний рассвет, мглистый и неприятный. В ближайших булочных свет. На углу дремлет с гневой лошадкой извозчик.

Но нанять его на виду у Модеста нельзя. Модест услышит, куда его наняли, донесет...

Надо пройти еще немного, завернуть за угол.

Нюта робко оглядывается. Модест стоит у подъезда, смотрит ей вслед и качает головой. Или это так кажется, что качает головой?..

– Извозчик, вы знаете N-скую улицу?

– Чего-с?

Дрожь охватывает снова все тело Нюты. Что, если Модест слышал, куда она нанимает возницу?..

Этот последний с изумлением смотрит на нарядную барышню, говорящую ему «вы».

– N-скую улицу вы знаете, извозчик?

– Семь гривен, – вместо ответа выпаливает тот.

– Да... да... Только, пожалуйста, везите поскорее.

– Духом. Не извольте сумлеваться, барышня. Одна нога здесь, а другая там.

Извозчик – веселый, жизнерадостный старикашка, но Нюте эта веселость кажется почему-то подозрительной. Что, если он в заговоре против нее с Модестом, tante Sophie, со всем миром?

– Какой вздор! – тут же успокаивает себя девушка. – Все предусмотрено... Я не доеду до места – пройду пешком... И потом, ведь Нюта Вербина исчезает с этой минуты и до нее доберутся не скоро... Ведь едет не Нюта, а Марина Трудова... Чего же я боюсь? Право, смешно!

И нервно вздохнув, Нюта прыгнула в пролетку⁴ и скрылась под ее крытым верхом.

⁴ Пролётка – легкий четырехколесный экипаж.

Глава II

– Будьте добры сказать, как пройти в квартиру госпожи начальницы?

Дворник, несший лохань с помоями по двору, приостановился на минутку.

– Вам к Ольге Павловне?

– Да.

– Идите все прямо по мосткам, садом. Налево, у главного здания, дверь. На дощечке прочтете. Подле глазного барака.

Дворник снова зашагал по грязи, а Нюта пошла по указанному ей пути.

В саду царит мертвящая душу осень.

Полубнаженные, с пожелтевшей листвой, стоят деревья, полные тоски и осенней грусти.

Голодные вороны с жалобным карканьем реют над верхушками могучих и в то же время жалких лип и дубов. Мелкий дождь моросит тоскливо, нудно.

В углу сада – качели. Дальше – скамейки для барачных больных, которые в теплую летнюю пору выходят из своих отделений подышать свежим воздухом.

По настланым через двор и сад деревянным мосткам Нюта пробралась к главному флигелю. В углу приветливо сияет медная дощечка поверх клеенчатой двери. На дощечке надпись: «Ольга Павловна Шубина».

Еще несколько быстрых шагов – и Нюта у двери.

Робкий, чуть слышный звонок... Биение сердца... Шум шагов за дверями – и на пороге появляется пожилая горничная, в белом фартуке и с белым же чепчиком на голове.

– Ольга Павловна принимает?

Когда Нюта говорит это, ее пальцы конвульсивно впиваются в ручку саквояжа и сердце перестает стучать, замирая в муке ожидания.

– Пожалуйте, барышня. Барыня сию минуту делают обход барачных; через полчаса вернутся. Потрудитесь войти, обождать.

Горничная обдает Нюту ласковым взглядом. Ее изысканный костюм, шляпа с страусовыми перьями и бледное взволнованное лицо возымели свое действие на старую служанку.

Таких посетительниц нечасто встретишь в квартире начальницы N-ской общины сестер милосердия.

«Должно быть, родственница Ольги Павловны, из дальних», – решает горничная и, особенно заботливо сняв с молоденькой посетительницы ее щегольской жакет-сюртук, вводит ее в приемную.

– Вот здесь, барышня, потрудитесь обождать. Когда барыня вернутся с обхода, я доложу о вас.

И, шурша юбкой, она выходит из комнаты. Нюта остается одна.

Робким взором окидывает она незнакомую ей обстановку. Чопорная старинная кожаная мебель, посередине – круглый стол, на столе лампа под зеленым абажуром, вокруг нее журналы, газеты, преимущественно медицинского содержания. Тут и «Врач», и «Врачебные известия», и «Первая помощь». В углу пианино с откинутой крышкой и книжный шкаф.

Жесткое кожаное кресло с прямой спинкой кажется очень неудобным. Нюта сидит в нем, вытянувшись, как стрела. От бессонной ночи и раннего сегодняшнего вставания голова у нее слегка кружится, в ушах звенит. Глаза слипаются помимо воли.

Она запрокидывает голову на жесткий переплет кресла и, поддавшись тихому настроению покоя, погружается не то в забытие, не то в сонные грезы еще не забытых переживаний души.

Снова, как из тихого безмятежного озера, болью наплывают милые детские сны. Крошечное именище-усадебка на берегу Волги, могучей и прекрасной, дом не дом, хатка не хатка,

старая бабушка, мать – учительница в сельской школе... Милая мама! Такая упорная, стойкая в достижении своих целей, неутомимая в труде. Овдовела двадцати лет и осталась без гроша с дочерью-малюткой на руках. Поступила в учительский институт, сдал свою Нюту на руки старой матери.

У бабушки – бедность, почти нищета. Иринкино заложено дважды. Хозяйство – в убыток. Едва перебивается бабушка, из сил выбивается мама... Не помнит этого Нюта, только по рассказам знает. Бабушка говорила о своей дочери, как о святой...

Еще бы не святая! Молоденькая, почти девочка, она билась как рыба об лед ради семьи. Добилась. Кончила учительские классы, приехала в Иринкино, выхлопотала себе тут же место в сельской школе. Нюта с этой минуты начинает свои сознательные воспоминания...

Крошечная усадьба, село, школа, старая седая хлопотунья бабушка и молодое одухотворенное бледное лицо мамы – вот что помнит Нюта из первой поры детства.

Подрастает Нюта... Ее, вместе с крестьянскими ребятишками, учит ее мать. Утро они проводят в сельской школе, а днем и в теплые летние вечера гуляют по широкой степи и в молодом березняке, близ оврага. На усталом лице мамы Нюта видит сверкающие звезды больших вдохновенных глаз.

Мама постоянно твердит своей Нюте в часы досуга:

– Расти, учись, детка... Вырастешь, выучишься, станешь, как мама, учить других, помогать, чем можешь... Бедны мы, Нюточка, моя жизнь... Не можем пособить деньгами людям, отдадим же им то, что имеем, – самих себя. Чем только можешь, приноси пользу людям, моя птичка; не покладая рук работай на них, дитя! Нет лучшего чувства на свете, как сознание, что ты не без пользы для других проводишь дарованную тебе свыше жизнь...

Не ограничивается своей учительской деятельностью мама... Ежедневно на дворе их маленькой усадьбы толчется серый деревенский люд. Это больные крестьяне, их жены и дети, приходящие ежедневно за помощью. Нютина мать умеет лечить. Самоучкой чтением врачебных книг дошла она до того, и умеет подать первую помощь, лечить несложные болезни, ушибы, нарывы, лихорадки и прочее...

И Нюту она постепенно приучала к этому, зарождая в душе девочки желание быть полезной для людей.

Так жили они все трое, счастливые своей необходимостью окружающим.

Но вот грянул гром. Случилось несчастье. Над крошечной их усадьбой разразилась небесная гроза.

Нютина мать подхватила пятнистый тиф⁵, заразившись от больной крестьянки, за которой она ухаживала с истинной заботливостью сестры милосердия, и, прометавшись без памяти около недели, умерла.

Тяжело отозвалась эта смерть в душе Нюты. Ребенок едва не умер от горя.

Старая бабушка, потеряв одно близкое существо, напрягла все свои силы, чтобы удержать другое. Земский доктор, навещавший нервно заболевшую Нюту, твердил одно:

– Перемена обстановки во что бы то ни стало и как можно скорее, иначе я не ручаюсь за ее жизнь.

Долго думала старая бабушка, прежде чем решиться на единственный возможный для нее исход, и наконец решилась: собрала кое-какие крохи, сдала большой кусок земли в аренду крестьянам и повезла Нюту в Питер.

Много хлопот, тасканья по приемным влиятельных сановников, слез и унижения вынесла бабушка, прежде нежели ей удалось определить девочку в сиротский институт.

Добилась своего старая бабушка, устроила Нюту и, облив слезами бледное, испуганное личико девочки, уехала в свое Иринкино снова хозяйничать.

⁵ Пятнистый тиф – то же, что сыпной тиф, острое инфекционное заболевание.

Быстрой, пестрой чередой пронесли институтские годы, подруги... уроки... мечты о будущем в тени старого институтского сада, тихие, тайные беседы в темноте дортуаров⁶, прерывистый шепот о «святой маме» и несмело высказанные надежды идти по ее стопам – вот, чем жила девочка Нюта... Сладкие воспоминания былого счастья, восторженные мечты о грядущем труде – именно этим было заполнено хрупкое существо белокурой робкой, мечтательной юной институтки.

Во время летних вакаций⁷, когда более счастливые из подруг разъезжались к родственникам, Нюта, с ее менее счастливыми подругами, отдавала большую часть времени занятиям, чтению и долгим задушевным беседам.

Ехать в Иринкино к бабушке было невозможно. Дорога стоила дорого, да и самая жизнь в усадьбе представила бы теперь одни сплошные лишения для молодой девушки. Старая бабушка не хотела подвергать им девочку и решила не брать больше Нюту к себе.

С этой целью она написала письмо генеральше Махрушиной, своей дальней родственнице, прося ее принять на себя попечение о сиротке Нюте.

Генеральша Софья Даниловна считала себя благодетельницей всего живущего на земле. Ее дом кишел приживалками, ее деятельность на почве благотворительности приобрела уже громкую известность. К тому же единственная дочь вдовы-генеральши, Женни, скучала одна – и все это вместе взятое и заставило госпожу Махрушину принять тотчас по окончании института в свой богатый дом бедную девушку-сироту.

Прямо с институтской скамьи Нюта Вербина очутилась в кипучем водовороте светской жизни. Балы, театры, рауты, пикники, выезды с Женни и ее компаньонками в модные магазины, с визитами, на вечера и журфиксы⁸, – вот чем наполнилась теперь Нютина жизнь.

Тихая, робкая, застенчивая девушка, мечтавшая о труде, самоотверженной работе, невыносимо страдала. Одна за другой улетали, разбиваясь вдребезги, ее недавние прекрасные мечты о служении на пользу человечества, и в душе Нюты закипали первые муки жестокого разочарования.

Не жалея денег, вся преисполненная желанием убоготорить молоденькую девушку (которое она, кстати сказать, не забывала подчеркивать всем на каждом шагу), генеральша Софья Даниловна забросала Нюту подарками, безделушками, всевозможными не нужными девушке мелочами. Она одевала племянницу так же роскошно и богато, как и собственную дочь, Женни, откровенно удивляясь при этом неблагодарности и нечуткости Нюты, которая нехотя принимала все безразличные ей безделки и изящные костюмы и не рассыпалась за них в благодарности перед теткой, не радовалась им.

Всегда тихая, угрюмая, сосредоточенная, Нюта мало соответствовала шумной, пустой праздничной жизни в генеральском доме.

Сама генеральша, воображавшая себя совершенно искренне благодетельницей племянницы, глубоко возмущалась ею. И многочисленные компаньонки и приживалки льстиво подчеркивали перед Софьей Даниловной свое справедливое негодование, неудовольствие Нютой. Все чаще и чаще слышались как бы случайно уроненные фразы, долетавшие до ушей молодой девушки: «Как волка ни корми – он все в лес смотрит». Или: «Чуткости, где ее нет, насильно не привьешь, матушка-благодетельница».

Нюта слышала, смущалась, но пока все еще не решалась действовать... Пока...

Новое, светлое воспоминание ярким светочем вспыхнуло в мозгу девушки: случайная встреча с Мариной Трудовой в японской гостиной Женни. Они сошлись и сдружились как-то

⁶ Дортуар – общая спальня для воспитанников в закрытых учебных заведениях.

⁷ Вака́ции – каникулы.

⁸ Журфи́кс – прием гостей в заранее установленный день недели.

сразу. С первого же взгляда Марина поняла все. И она помогла Нюте. Помогла быстро – может быть, чересчур рискованно и быстро – осуществить Нютины горячие мечты.

При одной мысли о способе этого осуществления яркий румянец зажег щеки Нюты. Ее веки, отягощенные дремотной тяготой, поднялись с усилием. Она широко раскрыла глаза.

Глава III

– Чем могу служить?

В двух шагах от кресла, на котором замечталась Нюта, стоит высокая худая женщина в темно-коричневом форменном платье, в белом переднике с нашитым на нем ярко-красным крестом на груди. На седеющих гладко причесанных волосах надета скромная белая косынка. И передник с крестом, и косынка – все это ослепительной белизны. Лицо тонкое, благородное, с орлиным носом и пронизательными светлыми глазами. Бледные сухие губы плотно сжаты. Густые темные брови придают суровое, несколько надменное выражение пожилому лицу.

Нюта вскакивает с кресла. Румянец густыми пятнами бросается ей в лицо. Смущенно опускаются длинные ресницы, потом испуганно взмахивают снова. Глаза вспыхивают. Губы вздрагивают.

– Я бы хотела... я бы желала... очень желала бы поступить в вашу общину...

– Что?!

Темные брови сестры-начальницы поднимаются высоко. Глаза внимательно всматриваются в смущенное, все облитое горячим румянцем, молодое лицо.

– Что?

Дрожащим голосом Нюта повторяет:

– Я бы просила вас принять меня в число вверенных вашему попечению сестер... принять меня в вашу общину... Я хотела бы быть сестрой милосердия...

Начальница плотнее сжимает губы. Окидывает стоящую перед ней девушку пронизательным взглядом. Потом медленно покачивает головой.

– Этого нельзя сделать, мадемуазель, никак нельзя...

– Нельзя?!

Нюте кажется, что под ногами у нее раскрывается пол и что она летит в какой-то темный провал вниз головой. Неужели все кончено, все?! Слезы душат ее. Рыдание готово вырваться из груди. Но она делает сверхъестественное усилие над собой, подавляет слезы, готовые брызнуть из глаз, и говорит прерывающимся на каждом слове голосом:

– Почему, почему вы не хотите этого сделать?

Брови сестры-начальницы сдвигаются над блеснувшими недовольством глазами. Она мельком бросает взгляд на золотые часики, прикрепленные на груди. Времени у нее так мало, так убийственно мало, надо еще пройти в операционную, куда откомандировано несколько сестер для помощи врачам, и в амбулаторный прием. А эта худенькая девочка, в нарядной шляпе, так мало соответствующей монашескому строгому облику сестер, задерживает ее здесь пустыми, ненужными просьбами и болтовней. Досада!

Эта досада вспыхивает в глазах начальницы и отражается в ее голосе, когда она говорит ледяным тоном, обращаясь к Нюте:

– Не хочу лгать, мадемуазель. В нашей общине недавно освободилась вакансия вместо умершей три месяца тому назад сестры. Волею высокой попечительницы приюта, дарованной мне, я имею право принимать в общину сестер по собственному моему усмотрению. Вакансия открыта, место есть, но... ни я, и никто другой не решится привлечь вас, именно вас, мадемуазель, к нашему делу...

– Но почему же, почему! – скорее стон, нежели вопрос срывается с побледневших губ Нюты.

– А потому, мадемуазель, – звучит снова в ушах ее тот же бесстрастный, неподкупный голос, – а потому, что дело наше – великое, большое, трудное дело. Оно требует большой затраты здоровья и сил. Оно требует на каждом шагу самоотречения и жертв... Я должна сказать вам, что, пока вы дремали у меня здесь в кресле, я успела хорошо рассмотреть вас. Худень-

кая, слабая, бессильная, судя по внешности, разве вы сможете поднять взрослого больного?.. Вы, должно быть, нервны и малокровны...

– Нет! Нет! – помимо ее собственной воли вырывается из глубины души Нюты протестующий крик.

– Как «нет», мадемуазель! – еще больше нахмурившись, произнесла начальница. – Вам, очевидно, неизвестно, что жизнь сестры милосердия – сплошная мука... Бессонные ночи, уход за умирающими, гнойные раны, операции – удары по нервам каждую минуту... Вы, судя по внешности, барышня из общества и не справитесь с такой тяжелой задачей. К тому же вы болезненны и чересчур хрупки. Стало быть, об этом не может быть и речи. Если хотите приносить пользу, изберите благотворительную деятельность на другой почве. Учредите какой-нибудь новый комитет для бедных, устраивайте в их пользу концерты, вечера, спектакли – вот вам мой совет. А теперь... извините меня, мадемуазель, мне надо идти, меня ждут.

И Ольга Павловна Шубина, вежливо поклонившись совершенно растерявшейся Нюте, направилась к двери.

Она почти дошла до порога комнаты, как неожиданно тихое, заглушенное рыдание донеслось до нее.

Начальница обернулась. Упав головой на стол, вся скорчившись в громоздком, неуклюжем кресле, всхлипывала тщедушная, маленькая фигурка.

Ольга Павловна замерла на месте.

Все существо этой нарядной, светской по виду барышни выражало теперь столько искреннего, безысходного горя, столько безнадежной муки чудилось в этом надорванном рыдании, что суровое, закаленное всякими душевными бурями лицо начальницы невольно дрогнуло. Неслышными легкими шагами подошла она к Нюте, положила ей одну руку на плечо, а другой коснулась горячего лба девушки, заставив ее этим движением поднять голову и открыть залитое слезами, глубоко опечаленное лицо.

– Дитя мое! Дитя мое! – новым, совершенно иным, нежели незадолго до этого, голосом, заговорила Шубина. – В чем же дело? В чем дело, родная моя?

Этот преобразившийся, смягченный, почти материнскими нотами зазвучавший голос проник в самую душу Нюты, захватив ее всю женской ласковой волной.

В одну минуту девушка соскользнула с кресла, упала к ногам сестры-начальницы, схватила ее руки своими дрожащими ручками и залепетала, трепеща всем телом:

– Ради Бога... ради всего святого, выслушайте меня!.. Не отталкивайте меня! Умоляю вас, не отталкивайте! Примите меня к себе! Если не в сестры, то хоть в сиделки... в прислуги, только не гоните! Не судите меня по внешнему виду... Я не белоручка. Нет! Нет! Я умею перевязывать раны, накладывать бинты, повязки. Я научилась этому еще в детстве, дома... в деревне... И затем в институте преподаватель гигиены учил нас оказывать первую помощь и ухаживать за больными... Испытайте меня, попробуйте только мои силы. О, я не слаба! Худа, правда, но это от тоски, от невозможности жить так, как хочется. О, я окрепну! С детства у меня было призвание к вашему делу... моя мать была такая же... она передала мне свою склонность. С детства я мечтала о том, чтобы посвятить себя уходу за больными. Я хочу быть сестрой, сиделкой, больничной прислугой, если надо. Только не гоните меня!..

И неожиданно на тонкую, сухую руку сестры-начальницы упал поцелуй, смоченный слезами.

Что-то снова дрогнуло в суровом лице высокой женщины, мягкое пламя зажглось в глубине ее глаз, пронизательных и строгих...

Рука начальницы невольно подалась вперед, легла на плечи девушки.

– Встаньте, – произнес уже совсем мягко властный голос.

Нюта повиновалась.

Сестра-начальница, не выпуская ее плеча, подвела девушку к столу, усадила в кресло. Сама пододвинула легкий бамбуковый стул.

– Как ваше имя? – произнесла она, не спуская глаз с лица Нюты.

Это лицо, бледное, как саван мертвеца, от только что пережитых волнений, вспыхнуло вдруг пурпуровым румянцем.

– Мариной Трудовой зовут меня, – послышался тихий, робкий ответ.

– Вы сирота?

– Никого у меня нет на свете.

– Где вы жили до сих пор? У родственников? У знакомых?

Обливаясь потом, Нюта прошептала:

– Я недавно кончила институт, потом поступила на педагогические курсы... Но захотелось другой деятельности... вашей... Она мне родная, близкая, мечта моей жизни... Мечта и цель...

Смушение сразу покинуло при последних словах молодую девушку. Лицо ее ожило, глаза заблестели.

Начальница еще раз пристально взглянула на нее, потом проговорила коротко:

– Ваш паспорт с вами?

– Да.

Нюта наскоро дрожащими руками отстегнула пуговицы лифа. На груди лежала черная книжечка. Она схватила ее как-то уж слишком быстро и подала начальнице.

– Вот.

«Марина Алексеевна Трудова, дочь статского советника⁹, слушательница II курса педагогического института», – прочла начальница почему-то вслух.

Потом вернула книжку Нюте.

– Хорошо. Я сначала оставляю вас в общине для испытания, – произнесла она прежним сурово-деловым тоном, – если хотите, то сейчас же отведу вас в комнату, где вы поселитесь с тремя другими сестрами. Вы займете место умершей сестры. Вытрите слезы и идем.

– О, как вы добры! Благодарю вас от души! – произнесла Нюта.

– Подождите благодарить... Еще не время... Повторяю, мне нужны сильные, здоровые девушки и женщины... И если тяжелая работа в общине вам окажется не под силу, не пеняйте на меня, я принуждена буду вернуть вас в свет.

И говоря это, Ольга Павловна Шубина двинулась из приемной, сделав знак Нюте следовать за ней.

⁹ Статский советник – в России гражданский чин 5-го класса согласно Табели о рангах. Лица, имевшие данный чин, занимали должности вице-директора департамента и вице-губернатора.

Глава IV

Длинный, длинный коридор с каменным полом. По обе стороны его стеклянные двери с черными дощечками. На них выгравированы белыми буквами названия покоев: «Амбулаторный прием», «Глазной прием», «Операционная», «Водолечебница», «Сыпной».

По дороге Нюте и ее спутнице поминутно попадаются мужские и женские фигуры в длинных, от шеи до самых пят, белых передниках-балахонах. На головах женщин – белые же косынки. Все они низко кланяются сестре-начальнице, удивленными глазами провожают Нюту и пропадают, как призраки, за стеклянными дверями. Сплошной гул, похожий на звуки разгудавшегося морского прибора, наполняет здание. Гул несется из-за стеклянных дверей.

– Это больные, – поясняет Ольга Павловна, поймав вопросительный взгляд Нюты. – У нас прием ежедневно, не считая воскресенья и праздников, с девяти до трех... Иной раз до тысячи в день перебивает всякой бедноты. Ну, вот мы и пришли, теперь направо.

Неожиданный яркий свет ударил по глазам Нюту. Полутемный коридор кончился. Она находилась теперь в огромной швейцарской, откуда начиналась широкая лестница, ведущая в общежитие сестер. Все время озираясь по сторонам, Нюта, следуя за начальницей, стала подниматься по ступеням, крытым узкой дорожкой-ковриком.

И тут, на лестнице, как и в коридоре внизу, им поминутно встречались женские фигурки, но уже не в белых докторских передниках до пят, а в одинаковых серых полотняных домашних платьях, с такими же фартуками и косынками, как и у сестры-начальницы. Впрочем, у некоторых из сестер были черные косынки, у других – повязанные как-то странно, углом.

– Это «испытываемые», то есть принятые на испытание, точно так же, как и вы, – пояснила Нюте начальница, – у них черные косынки, и пока они не окончат теоретического курса знаний, требуемых для сестры милосердия, они не могут получить белой косынки и креста. А те, что носят косынки углом, – «курсистки», то есть сестры, уже занимающиеся с профессорами в аудиториях. Вам также придется посещать аудитории год-полтора, – произнесла Ольга Павловна, метнув неуловимый взор на Нюту.

Когда они поднялись на верхнюю площадку лестницы, Ольга Павловна остановилась перед стеклянной дверью, за которой сияли позолотой при свете осеннего утра иконостас, хоругви¹⁰ и образа.

– Это наша домовая церковь, – произнесла начальница, осеняя себя крестом, – а направо и налево идут помещения общежития, комнаты сестер. А вот приемная, где можно принимать родственников и знакомых, а там дальше, в конце левого коридора, – лазарет сестер... Что, доктор, вы ко мне? – неожиданно прервала свои пояснения Шубина, увидя спешившую к ним навстречу по коридору высокую фигуру в белом врачебном переднике-халате.

Пожилой румяный и очень крепкий по виду старичок, с пегой бородкой, с симпатичным, сразу располагающим в свою пользу лицом, подошел к Ольге Павловне.

– Я насчет сестры Есиповой. Надо бы ее перевести в общий барак... Дело дрянь...

– Что же?

Нюта взглянула на Шубину. Суровое, как бы замкнутое в самом себе, строгое лицо сестры-начальницы стало неузнаваемо.

Какая-то неуловимая черта страдания задрожала между складками рта и изгибом бровей. Глаза, спокойные и властно-строгие за минуту до этого, затеплились теперь огнем страдания и тревоги.

¹⁰ Хоругвь – в христианстве: особый вид знамен с иконами, носимых на длинных шестах во время крестных ходов.

– Сестра Есипова очень плоха, не хочу врать, – объяснил старичок. – Сестрицу нашу угораздило схватить злейший тиф. Право, лучше перевести в барак, хлопот здесь больше с ней...

– Ни за что! – резким голосом произнесла Шубина. – Ни за что, Валентин Петрович!.. Здесь и уход особый, и свои рядом, и я в случае надобности каждую минуту могу... Сегодня буду сама всю ночь дежурить у постели Наташи... А пока не надо ли чего? Вина какого-нибудь хорошего, подороже. Я пришлю...

Валентин Петрович развел руками.

– Слушаюсь и покоряюсь... Вам лучше знать. А насчет вина, пришлите ей токайского, – произнес он и, только тут заметив Ньюту, прибавил совсем уже другим тоном: – Ага, никак новенькая сестрица... Ну, будем знакомы, барышня, будем знакомы. Небось, на первых порах-то все занятно у нас кажется, а вот поживете маленечко да поприглядитесь, может, и потянет обратно домой, а?

– Сестра Трудова принята в разряд испытуемых, – прежним уверенно-спокойным тоном произнесла начальница.

– Доктор Козлов, – отрекомендовался добродушный старик, – а то и попросту Козел, с вашего позволения. Меня давно сестрицы в козлы произвели. Знаю и не обижаюсь. Козел так козел. Говорят, зол я, бодаться здоров, особенно на репетициях по анатомии; отчасти, пожалуй, и правда... Впрочем, сами убедитесь... Так-с... Итак, будем знакомы. Нашего полка, стало быть, прибыло. Очень рад, очень рад!

И доктор с каким-то рьяным ожесточением потряс худенькую ручку Ньюты.

– Валентин Петрович, зайдите в лазарет и подождите меня там. Я сейчас отведу только новенькую сестру и пройду к Наташе, – произнесла Ольга Павловна и, кивнув головой Козлову, снова зашагала по длинному коридору, по обе стороны которого находились одностворчатые двери с черными дощечками, занумерованными белыми цифрами.

– Вот ваша комната, мадемуазель Трудова, – сказала сестра-начальница, останавливаясь перед дверью, отмеченной номером десятым. Она уже хотела нажать ручку, как неожиданно дверь распахнулась настежь, и, столкнув с пути своего Шубину и Ньюту, из комнаты выскочила маленькая, очень растрепанная, румяная и хорошенькая девушка, вернее девочка, с огромным чайником в руках.

Нюта успела только заметить густые завитки льняных, почти белых, волос, вздернутый носик, огромные, детско-наивные глаза, малиновый смеющийся рот и глубоко засевшие лукавые ямочки на пухлых румяных щеках. На ней было шерстяное коричневое, как у гимназистки, платье и черный передник с красным крестом на нагруднике. Белый воротничок и такие же батистовые каемки манжет украшали этот полушкольный костюм.

Толкнув изо всей силы Шубину и Ньюту и испустив испуганное «ах!», девушка с чайником бросилась бежать по коридору.

Она была уже у дверей, выходящих на площадку лестницы, как неожиданно резкий, строгий голос Ольги Павловны остановил ее:

– Сестра Розанова, назад!

Нюта видела, как моментально замерла на месте маленькая юркая фигурка. Хорошенькое живое личико стянулось в обиженную гримасу. Чайник описал неожиданный взлет в руках странной девушки, и она нерешительными шагами приблизилась к начальнице.

Суровым, почти жестким взглядом, пронизательным и долгим, начальница обвела остановившуюся перед ней в двух шагах фигурку.

– Что угодно, Ольга Павловна? – не то капризно, не то наивно прозвучал совсем детский голосок.

– Почему вы позволяете себе бегать так, простоволосой, без косынки, вопреки уставу? Сестра Розанова, отвечайте мне! – произнесла начальница.

Быстро взмахнули черные пушистые ресницы, синие глазки блеснули в полутьме, а звонкий голос проговорил робко:

– Я не знала... я думала... право, я думала, что не попадусь вам навстречу, Ольга Павловна...

И лукавые глазки покосились в сторону Нюты, как бы ища поддержки.

Девушка была очень мила в своем шаловливом ребяческом задоре. По крайней мере, такой она показалась Нюте.

Но, очевидно, Ольга Павловна не разделяла мнения девушки. Ее брови сошлись над переносицей, еще суровее и жестче стали черты.

– Премилый ответ, достойный школьницы приготовительного класса, а не взрослой девицы и притом сестры! Стыдитесь! Точно маленькой приходится делать вам замечание... Кстати, почему вы в парадном платье?

– Я выходила, Ольга Павловна... ненадолго...

– Без отпуска? Вы ведь не брали разрешения у меня... Значит, у Марии Викторовны брали?

– И не думала...

– Стало быть, без спроса?

– Да, без спроса...

Упрямые складки залегли в обоих концах девичьего рта и придали ему сразу недоброе, почти злое выражение. Синие глаза вспыхнули ярче.

Шубина погрузилась взглядом в их сверкающую глубину и пожала плечами.

– Извольте изменить ваше поведение, Сестра Розанова, иначе, как ни грустно, а мне придется откомандировать вас куда-нибудь подальше. Очевидно, жизнь здесь, в столице, плохо влияет на вас... Помните же: еще одна такая отлучка без моего разрешения или разрешения моей помощницы, и мы принуждены будем расстаться. Помните, сестра, я предостерегаю вас в этом в последний ра...

Сестра-начальница не успела договорить последнего слова, как чайник выскользнул из рук белокурой девушки и с грохотом покатился по коридору.

Маленькие белые ручки Розановой схватили конец черного передника, поднесли его к лицу, и она громко, неудержимо, совсем уже по-детски зарыдала на весь коридор.

При первых же звуках этого всхлипывающего голоса всюду раскрылись расположенные по обе стороны коридора двери и высунулись молодые, совсем юные, пожилые и старые лица в косынках на черных, русых, белокурых и седых волосах.

– Что такое? Здравствуйте, Ольга Павловна! Что это, опять с Розочкой несчастье? Отчего Розочка плачет? Сестра Розанова, Розочка, кто обидел вас? – слышались полувстревоженные, полуиспуганные голоса.

– Стыдитесь же! Идите в свою комнату и перестаньте плакать и срамить своими выходками меня и общину, вы, большое дитя! – строгим голосом произнесла начальница, быстро распахивая дверь «десятого номера» и почти силой вталкивая в нее плачущую сестру.

Глава V

Нюта вошла вслед за начальницей. Она с удовольствием оглядела большую светлую комнату с двумя широкими окнами, выходящими в сад. Полуобнаженные деревья сада, набережная реки, расположенная за высокой белой оградой, и самая река, подернутая осенним слезливым туманом, – вот что в первую минуту представилось ее взору.

Обстановка комнаты поражала своей скромностью и изысканной, почти педантичной, чистотой. Четыре застланные белоснежными пикейными¹¹ одеялами постели ютились вдоль стен, сомкнутые одна с другой изголовьями.

Большой платяной шкаф скромно возвышался в углу. Четыре маленьких ломберных столика¹² с письменными принадлежностями – по два у каждого окна, разделенные между собой этажерками. В противоположном углу, у печки, поверх застилавшего добрую четверть пола комнаты линолеума, – умывальник. Оттоманка¹³ и диван, крытые кожей, четыре таких же кресла, отделенных от кроватей низенькой ширмой. Туалет в одном из углов, белый кисейный, поражающий той же изысканной чистотой, с венецианским зеркалом, без рамы на нем.

У письменных столиков – бамбуковые табуреты, у туалета – темный пуф. Посреди комнаты – небольшой круглый стол; над ним – висючая лампа.

На стенах картины: зимний пейзаж, тройка, мчащаяся в метель, и море, миниатюрная копия Айвазовского. Между окон – огромный портрет двух очаровательных малюток, мальчика и девочки, лет четырех, улыбающихся, как маленькие херувимы.

При входе начальницы с поклоном поднялись сидевшие у стола за чайным прибором две женщины. Обе они были в костюмах сестер милосердия.

Одна – высокая, стройная, лет двадцати восьми, с правильными чертами измученного желтоватого, без примеси румянца, лица, красивыми грустными черными глазами, тонкой нитью пробора в густых пушистых, цвета вороненой стали, волосах.

Другая – широкоплечая, крепко сложенная, с очень некрасивым веснушчатым лицом, толстыми губами, маленькими, как бы заплывшими, глазками и гладко причесанными, почти прилизанными, волосами. Ей по виду можно было дать приблизительно лет тридцать, а то и все тридцать пять.

Увидев рыдавшую Розанову, черноглазая молодая женщина поднялась ей навстречу, протягивая руки:

– Детка, милая детка, о чем?..

Толстые губы старшей обитательницы «десятого номера» сложились в добродушную насмешку.

– Эвона! Опять! Ну, будет же нынче до позднего вечера море разливанное! Господи, помилуй мя! Хоть на уборку амбулатории, что ли, уйти? Здравствуйте, Ольга Павловна! – поворачиваясь всем корпусом в сторону начальницы, грубоватым, как у мужчины, басистым голосом проговорила она.

И низко, по-мужски, вторично поклонилась Шубиной.

– Здравствуйте, барышня, – таким же точно тоном приветствовала она и Нюту и отвесила ей точно такой же поклон.

– Сестра Кононова и сестра Юматова, – произнесла, ответив на поклоны толстухи и бледной женщины, начальница, – вот вам новенькая испытываемая сестра, вместо покойной Руди-

¹¹ Пикé – хлопчатобумажная двойная ткань полотняного переплетения с выпуклым узором.

¹² Ломберный стол – четырехугольный стол, обтянутый сукном, часто складной, для игры в карты. (От названия вышедшей из употребления карточной игры ломбер).

¹³ Оттоманка – широкий мягкий диван с подушками вместо спинки и валиками по бокам.

ной. Поручаю ее вашему покровительству. Познакомьте ее с уставами нашей общины, научите всему, что надо делать на первых порах. С завтрашнего дня она с прочими испытуемыми начнет посещать лекции. А пока до свиданья, сестры! Мне еще надо навестить больную сестру Есипову. Ей хуже сегодня, говорит доктор Козлов...

При последних словах уткнувшись было в плечо черноглазой Юматовой Розанова отпрянула от подруги и, обратив к начальнице залитое слезами лицо, проговорила, всхлипывая и обрываясь на каждом слове:

– Хуже Наташе? Вы сказали хуже? Ольга Павловна! Сестрица, милая... позвольте, ради Бога, подежурить у нее сегодняшнюю ночь. Ради Бога! Я знаю... ей станет лучше со мной... Уж наверняка знаю... Пустите только на сегодняшнюю ночь в сестринский лазарет! Да?

– Но ведь до трех ночи вы дежурите в тифозном бараке, сестра, – напомнила Шубина.

– Это ничего. Я сменяюсь в три ночи. Переоденусь и приду к Наташе, – молил дрожащий, совсем еще детский, голосок.

– А когда же спать?.. – не меняя ни на йоту строгого выражения на суровом лице, спросила начальница.

– Спать? Ни-ни... На том свете все отоспимся вволю, – весело, сквозь слезы, рассмеялась девочка-сестра, играя всеми ямочками своего лица и блестя синими, как васильки, глазами.

Сухие костлявые плечи начальницы приподнялись немного.

– Хорошо, сестра Розанова. Я сама продежурю у Наташиной постели до трех. Ровно в четверть четвертого буду вас ждать для смены.

И сделав общий поклон, Шубина вышла из «десятого номера», оставив Нюту одну завязывать новые знакомства.

* * *

– Садитесь-ка сюда, давайте знакомиться, – своим грубым, басистым голосом проговорила сестра Кононова, усаживая Нюту у стола. – Чаю, может, хотите? С утра, поди, от страха перед новой жизнью не евши, не пивши, а? Розанова, перестали хныкать?.. Так тащите кипятку сюда. Да глядите, косынку напаяльте, милая, не то опять влетит по первое число... – добродушно обратилась она к хорошенькой сестре.

– И так сбегая... Прихорашиваться долго. Ушла наша инфлюэнца¹⁴ ходячая... Разве Козел один шмыгает теперь по коридору...

– Надень косынку, котик, – нежным грудным бархатным голосом произнесла бледная Юматова и обдала хорошенькую Розанову мягким, ласковым взглядом.

– Для тебя, Елена, не только косынку – извозчиный кафтан надену, вот что, солнышко ты мое райское!

И Катя Розанова, бросившись на шею бледной женщине, принялась целовать ее.

– Ну, пошла-поехала. Теперь вплоть до ужина кипятку не дождешься, – заворчала Кононова. – Нежностей у нее этих самых полный карман. Да отпихните вы ее, сестра Юматова. Ведь, прости Господи, конца-краю ее лизанью не будет, – не то добродушно, не то с досадой продолжала она ворчать, недоброжелательно косясь на девочку своими медвежьими глазами, совсем заплывшими на толстом, дышащем здоровьем лице.

Но Катя уже была у двери.

У порога она остановилась. Красивое личико ее в минуту отразило невыразимый испуг, почти ужас.

¹⁴ Инфлюэнца – устаревшее название гриппа. Здесь – прилипала.

– Батюшки мои! – в отчаянии всплеснув руками, шепнула она. – Что я натворила!.. Чайником нагрохотала, белугой ревела, а у Наташи-то все слышно в лазарете! Ах ты Господи Боже мой!

И схватившись за голову, она юркнула за дверь коридора.

Все последовавшее затем время, с его новыми, ежеминутно сменявшимися впечатлениями, прошло, промелькнуло для Нюты сплошным стремительным сном. Она точно жила и не жила в одно и то же время... Казалось, что вот-вот, стоит ей только сделать усилие и проснуться, и она снова увидит роскошную квартиру tante Sophie, сладко вопрошающие лица ее многочисленных компаньенок-приживалок, оригинальное, японского типа, личико кухни Женни, большую пеструю гостиную, толпу гостей генеральши и донельзя наскучившие светские лица. Услышит пустую болтовню о скачках, о театрах, о новом теноре Мариинской сцены, о новом платье княжны Нины, о новой муфте какой-нибудь баронессы.

Время шло, а Нюта не просыпалась... Сон окутывал ее все плотнее, все глубже... Оцепляла кольцом существующая действительность... Сон граничил с реальностью, и в душе Нюты постепенно умирал гнетущий ее страх.

Вернулась Катя Розанова, ликующая, задорная, шаловливая, как веселый котенок, и, сияя своими ямочками, заявила с уморительной гримасой на лице:

– Кушайте, сестрицы! Чай будет особенный. Я чуть Семочку впопыхах в коридоре этим самым кипятком не обварила.

– Вы с ума сошли, Розанова, что ли! – ударив по столу тяжелым кулаком, вскричала толстая Кононова. – Носитесь, как угорелая кошка, а нам всем после за вас отвечай...

– Полегче, сестрица, а то, не ровён час, столик-то и сломаете, – хихикнула Катя. – Ишь, кулачок-то у вас какой благодарный.

– Малыш вы этакий, девчонка! – добродушно-презрительно пробасила толстуха.

– Ну, понятно, не мальчишка. Насколько мне известно, мальчишек в общину не берут. А Семочка-то и впрямь чуть горячий душ у меня не принял, – хохотала Катя. – Идет это он по коридору к Наташе в лазарет, фалдочками помахивает, усики в струнку, глазки за стеклышками горят, а я несусь... «Берегись!» – кричу, а он – ноль внимания, фунт презрения. Развоображался очень. Не велика птица – всего младший врач. Ну, я и налети на него на всем скаку. А он остановился, глаза выпучил да и выпалил мне прямо в лицо: «Вам бы, говорит, сестрица, в кавалерии, а не в общине быть. Вы, говорит, ведете себя как казак, сестрица... Вам бы лошадь сюда».

– Ну, а ты что? – с трудом сдерживая улыбку на бледном усталом лице, спросила Юматова.

– А я ему: «Ничего, говорю, – я бы и не такую лошадь, как вы, объездила, у меня характер крутой».

– Ха, ха, ха! Так и отрезала? – расхохоталась басом Кононова и изо всей силы ударила Катю по плечу. – Молодец, котенок! Не суйся в нашу частную жизнь! Небось, в амбулатории да в бараке все мы другие.

– Ай-ай, как больно! Ключицу сломала, Конониха! Силища этакая неопишная! – приторно простонала Катя, потирая плечо. – Ну да пустое, чаем с вареньем залечу. Елена, есть у нас еще земляничное варенье?

– С утра-то, побойся Бога!

– Бога боюсь, но это не мешает мне адски хотеть варенья. А вы насчет этого как? – неожиданно обратилась к Нюте шалунья. – Да, кстати, как вас зовут? – спохватилась она.

– Ан... Ма... Марина Трудова, – несмело ответила та.

– Рада познакомиться. Сестра Марина, значит... А я Розанова, Катя, еще Котик, еще Розочка... Как хотите, так и называйте. Впрочем, Котиком не смейте. Это исключительное право называть меня так приобрела сестра Юматова, Леля, мой друг.

– Ах!.. – неожиданно вырвалось у нее. – Господи, помилуй мя, грешную! Совсем забыла! Дежурная я в глазном нынче. Батюшки, Фик-Фок меня доймет своим вниманием! – «Хде же это фи, милостивин хосударь, госпожа сестрица, мейн фрейлейн, пропадали... Я искала вас по всем углам... и нигде не нашла вас ни капли», – скорчившись в три погибели, сморщив лицо и сощутив глаза, затянула в нос Катя.

Должно быть, веселая девушка очень походила на изображаемое ею лицо, потому что толстая Кононова прыснула со смеха, а на тонких губах бледной Юматовой появилась улыбка.

– Перестань, Котик, перестань!

– Улетаю. Прощайте, сестрицы... Передник только надену... Чай с вареньем, так и быть, мысленно выпью и поцелую вас также в душе. Новенькая, прощайте и вы!

Она быстро завязывала, стоя уже на пороге комнаты, длинный халат-передник, набрасывала на голову косынку, беспечно смеялась и вытанцовывала на месте какое-то замысловатое па, умудряясь проделывать все сразу, одновременно.

– Иду! Бегу! Не плачьте обо мне!

И юркнув было за дверь, снова просунула из-за нее свою милую, всю в мелких кудрях, головку и розовое, ставшее вдруг неожиданно серьезным и печальным, лицо.

– Леля... Сестра Юматова... не забудь к ночи приготовить мне крепкого чаю, голубчик. Страх ко сну после дежурства клонит... А в три надо к Наташе идти... Припасешь, Юмат, чаю?

– Понятно. Иди уж, иди скорее!

Белокурая головка в белой косынке давно уже скрылась за дверью, а черные печальные прекрасные глаза Елены Юматовой все еще глядели ей вслед.

Нюта с усилием глотала чай, едва удерживаясь от дремоты.

Пережитые за последние дни волнения и бессонные ночи сделали свое дело. Ее веки слипались помимо воли; в какой-то неясный туман окутывались предметы.

– Спать хотите?.. Прилягте вот на диван, до завтрака далеко... Сосните... Господь с вами. Я вот свою подушку вам одолжу...

Точно сквозь сон увидела Нюта склоненное над ней лицо Юматовой... Черные ласковые, печальные глаза... грустную улыбку...

– Ложитесь, милая, не стесняйтесь...

Две тонкие, бледные, с голубыми нежными жилками руки помогли ей подняться со стула. Другие подхватили ее и бережно довели до дивана. Нюта опустилась, обессиленная, полусонная, на приятно холодившую ей затылок клеенку дивана.

Те же заботливые, нежные руки приподняли ее голову, подсунули под нее подушку и снова опустили на нее отяжелевшую головку девушки. Еще раз склонилось желтовато-бледное лицо над Нютой, темные грустные глаза блеснули ей лаской, и... желанный сон распластал над ней свои благодетельные крылья.

Что было потом, Нюта помнит смутно. Сквозь сон, чуткий, но тяжелый, вследствие переутомления нервов, она слышала все же, как раскрывались двери комнаты номер десять, как входили осторожно какие-то незнакомые фигуры в серых форменных платьях и передниках с красными крестами на груди и белыми косынками на головах.

Приходили, спрашивали о чем-то шепотом хозяйек «десятого номера», смотрели подолгу на спавшую Нюту, делились впечатлениями и снова уходили чуть слышным, едва шелестящим, как бы монашеским шагом.

Сквозь прижмуренные веки что-то красным светом заиграло перед закрытыми глазами Нюты. Она мгновенно раскрыла глаза.

Лампа под красным абажуром, стоявшая на одном из письменных столиков, освещала комнату. Был вечер, может быть ночь... Сквозь темные шторы пробиралась осенняя мгла... Где-то вдали мерцали золотисто-красные точки зажженных фонарей.

– Проснулись, – услышала Нюта бархатистый нежный голос. – Долго спали. Отдохнули хорошо?

Девушка смутилась. Как могла она спать так долго, целый день?!

– Который час? – робко осведомилась она, поднимая голову.

– Скоро шесть часов... Сейчас пойдем обедать... Сестра Кононова отпросилась в отпуск до вечера... Котик у Есиповой в лазарете, навестить пошла. А я вас караулила, чтобы не убежали, – заключила с легкой улыбкой сестра Юматова, глядя на Нюту.

Последняя с благодарностью взглянула на молодую женщину, так заботливо отнесшуюся к ней с первой же встречи.

При свете электрической лампы, прикрытой матовым розовым колпаком в виде исполнинского цветка мака, лицо сестры Елены казалось много моложе и свежее, нежели днем. Ее странная, особенная какая-то, одухотворенная красота поразила Нюту. Это было лицо мученицы, пережившей свои страдания и приблизившейся через них к Богу.

Что-то знакомое вдруг показалось в этом лице Нюте.

Смутная догадка мелькнула в освеженном долгим покоем мозгу. Глаза поднялись машинально к картине, на которой была изображена очаровательная пара детей-погодок.

– Какая прелестная картина! – произнесла вдруг девушка.

– Не правда ли? – и глаза Юматовой поднялись к портрету. – Когда-то эта картина была живой, воплощенной четой дорогих малюток. Это мои дети – с неизъяснимой любовью и нежностью произнесла сестра. – Они оба умерли от дифтерита в один день, в один час, пять лет тому назад.

И черные печальные глаза Юматовой опустились вниз.

Острая жалость пронизала сердце Нюты. Теперь она поняла, откуда взялась эта чудная, одухотворенная, грустная красота во всем существе молодой женщины. И это сходство ее с детьми, изображенными на портрете, стало ей понятно.

Мать, потерявшая двух прелестных, любимых, родных малюток, сама такая молодая, такая хрупкая и прелестная, невольно своим видом трогала ее. Бедная, несчастная женщина! Что должна была она пережить! Какое горе!

– Бедная! – прошептали помимо воли губы Нюты. – Как вы должны были страдать!

– Да... Это был ад... – произнесла Юматова, еще больше бледнея и волнуясь, – ведь я их потеряла в один миг! Вот в чем ужас! И как они страдали, бедняжки! Оба такие малюсенькие, такие терпеливые мученики-крошки... Мой муж чуть не помешался от горя, когда узнал... Он был на войне. Я отправилась туда же сестрой-волонтеркой. Искала смерти... Бросалась перевязывать раненых под самые пули. Страстно желала умереть. И что же?... Осталась жива... Награжденная Георгиевским крестом¹⁵, вернулась в Петербург здоровой и невредимой и по совету одной из наших сестер, бывших на войне, укрылась здесь, в общине, от своего горя, от лютых страданий...

– А муж?

– Убит на войне.

Нюта затихла, преисполненная уважения к чужому горю. Она казалась себе теперь такой жалкой, такой ничтожной в сравнении с этой женщиной, сумевшей так безропотно нести свой тяжелый крест.

Юматова сидела несколько минут молча, уронив на колени свои нежные, испещренные голубыми жилками, тонкие руки и задумчиво устремив подернутый глубокой грустью взор на портрет детей. Потом заговорила тихо:

¹⁵ Георгиевский крест – награда в Российской империи; учрежден в 1807 для награждения солдат и унтер-офицеров (преимущественно за храбрость).

– Вот все осуждают меня за мое влечение к Розочке. За баловство девочки. Но поймите меня: я – мать. Судьбе угодно было отнять у меня мои сокровища... Я не могу жить без заботы о ком-нибудь родном, милom... Мои больные и Розочка заполняют теперь всю мою жизнь...

Глава VI

- Сестрица Юматова, к столу!
- Новенькая сестрица, пожалуйста обедать.

Дежурная по столовой девушка, проходя быстрым шагом по длинным коридорам общежития и стуча в каждый номер, приглашала сестер.

Вслед за этим захлопали двери, и из каждой комнаты, в одиночку, парами и группами стали выходить серо-белые фигуры и спускаться по лестнице, ведущей к нижним коридорам, амбулаториям, квартире начальницы и столовой. Эта последняя представляла собою большую продолговатую комнату с несколькими столами, составленными вместе, с накрытыми восьмьюдесятью приборами для сестер.

Состав N-ской общины содержал в себе вчетверо большее число членов. Но сестры частью находились на частной практике, частью были откомандированы в клиники и больницы или уланы в дальние города и санатории южных врачебных пунктов.

Когда Нюта вошла в просторную длинную комнату, венецианские окна которой почти касались земли, все головы сидевших за столом сестер сразу, как по команде, повернулись в ее сторону.

– Ишь, вылупились!.. И чего вонзились, спрашивается только? Вы на них не больно-то глядите. Фыркните, коли что не так, – тихонько шептала Нюте подоспевшая к обеду сестра Кононова.

Та не успела ответить на слова своей новой знакомой, как над ее ухом послышался резкий голос:

– Мадемуазель Трудова... Пожалуйста сюда. Я хочу представить вас моей помощнице, Марии Викторовне.

Нюта подняла голову. Перед ней стояла Шубина, а подле нее любезно кивавшая ей головой еще молодая, очень недурная собой женщина лет тридцати пяти – тридцати шести.

- Вот, Марья Викторовна, наша новая испытуемая, – сказала Шубина, указывая на Нюту.
- Очень приятно, – ответила собеседница начальницы, подавая руку.

Ее губы с деланой любезностью улыбались Нюте, а глаза с неприятной пронзительностью в один миг обежали ее лицо, костюм, волосы, руки.

Нюте почему-то стало сразу неловко под этим взглядом. Она поспешила пожать руку помощнице и нерешительно остановилась посреди комнаты, не смея сама себе выбрать место за столом.

– Трудова, идите сюда к нам, здесь у нас все свои – теплые ребята... – услышала она в этот миг звонкий тенор уже знакомого голоса.

В конце стола подле сестры Юматовой сидела Катя и посылала по адресу Нюты веселые улыбки своего детски-шаловливого лица.

- Сюда, сюда! К нам поближе!

– Садитесь, что ж вы зевааете, мамочка, – и подоспевшая Кононова добродушно-грубовато подтолкнула Нюту к указанному месту.

Нюта машинально повиновалась. Сидя подле резвой Розочки, болтавшей что-то с ее соседкой Еленой, она могла исподволь наблюдать кипевшую вокруг нее жизнь.

Дежурная по кухне сестра разливала суп из огромной миски за стоявшим в стороне маленьким столом.

Девушки-служанки разносили тарелки по приборам.

Сестра-начальница прошла к концу стола и, обернувшись к висевшему в углу, как раз против ее места образу, прочла предобеденную молитву. Вставшие при первых же словах молитвы сестры тихо, про себя, повторяли ее.

Потом все сели. Марья Викторовна – по правую сторону Шубиной. По левую – самая старая, древняя 86-летняя сестра Мартынова, прозванная «бабушкой» и живущая уже здесь в общине на покое.

Нюта взяла в руку ложку и принялась за суп. Ей, привыкшей к изысканно-тонкому столу, не могла никоим образом понравиться эта мутная, серо-желтая жижица, с крепкими, как камень, клецками и кусочками разварного жилистого мяса, в полладони величиной, которые подавались под названием «супа» и «мясного блюда».

Не понравился ей и макаронный пудинг с белой подливкой. И она уже хотела отказаться от молочного киселя, как неожиданно слух ее уловил негромкий говор соседки по левую от нее руку.

– Удивляюсь я, сестрицы, – говорила смуглая черноволосая женщина, с длинным носом и цыганскими глазами, не лишенными своеобразной прелести, – удивляюсь я «светским» нашим. Идет, примерно, к слову сказать, к нам в общину всякая нервная барынька-заморыш, чуть живая малокровная барышня, а на что они нам, спрашивается? На что? Ветер дунет – свалится. Рану увидит – ахи, охи, дурно, воды! На кой шут лезут, спрашивается? Вот сестра Есипова, примерно, от тифозного заразилась, не могла уберечь себя... Все по недоглядке, конечно. Теперь умирает вследствие этого. А оттого, что светская, к примеру сказать, девица, на лебяжьем пуховике выросла... Папаша – полковой командир, жилось хорошо, привольно, – нет, в общину захотелось...

И долго еще сестра Клементьева (так звали черноватую, с цыганскими глазами женщину) продолжала свои укору.

– Видите ли, мало ей всего этого довольства: в общину пожелала... Ну, вот и расплачивайся! Эхма! Тоненькая, ветер дунет – свалится, талия в пол-обхвата, лицо бледное – как платок. И не одна она... Другие тоже... Ни здоровья, ни сил, а туда же, служить людям на пользу рвутся... А какая польза, спрашивается, от них? Сидели бы дома у мамашинной юбки – куда как хорошо: в два часа вставать с постели, прогуливаться по набережной до пяти, в этакой шляпе, в виде корзины опрокинутой, с перьями, что твой парус, а там прийти да с французским романчиком на кушетке полеживать. Куда как приятно! Да!..

Черноглазая женщина говорила все громче и громче. Если в начале ее речи у Нюты могло явиться какое-либо сомнение, то теперь этого сомнения быть уже не могло: слова черноглазой предназначались ей, и только ей. Вся кровь бросилась в голову девушки. К горлу подкатился нервный спазм, глаза обожгло слезами. Она быстро повернулась всем корпусом налево; два цыганских, иссиня-черных глаза с явным недоброжелательством впились в нее. Смуглое рябоватое лицо женщины улыбалось ей, Нюте, вызывающе, насмешливо.

Эти глаза, эта улыбка как бы ударили ее. Пристально, остро взглянула она в дерзко улыбающееся лицо черноглазой смуглянки и просто и громко, так что все окружавшие их сестры могли слышать ее, спросила:

– Вы это обо мне говорите?..

Цыганские глаза на мгновение скрылись в полосах ресниц. Потом широко раскрылись снова, и откровенно, уже усмехнувшись в лицо Нюты, женщина проговорила:

– Не о вас в частности я говорила, а о всех тех белоручках, что поступают в общину отнимать труд и хлеб у других...

Нюта побледнела, смутилась, но ненадолго. Внимательным взором оглянула она ближайших соседок по столу. Они молча смотрели на нее, вернее, не на нее, а на ее чересчур модный, рассчитанный на эффект костюм, на ее тоненькую, изящную, миниатюрную фигурку и на белые холеные руки, с розовыми, тщательно отполированными ногтями. Особенно на руки, на ногти, розовые, нежные и такие изящные, непривычные для глаз сестер. И показалось ли это Нюте или нет, но одна из напротив сидевших наклонилась к плечу своей соседки и проговорила довольно громко:

– Ловко отделала сестра Клементьева институточку нашу и – поделом...

– Не лезь в общину... Белоручкам здесь не место, – так же шепотом со злой усмешкой отвечала соседка.

А цыганские глаза между тем все смотрели и смеялись, смеялись и смотрели явно недоброжелательным взглядом прямо в глаза Нюте. Вся бледная, она сидела под этим взглядом, как на горячих углях.

Подле нее Розочка оживленно шепталась о чем-то с сестрой Юматовой, и обе они, казалось, забыли о ней, Нюте. Другие сестры сосредоточенно занимались едой, торопясь покончить с обедом как с ненужной и праздной вещью, чтобы снова поспешить к своим делам. Иные вскользь поглядывали на Нюту с холодным любопытством, другие – с участливым соболезнованием, третьи – с явным недоброжелательством, как и ее черноглазый недруг. От этих взглядов, беглых и безучастных, лицо Нюты то пылало ярким румянцем, то бледнело и снова вспыхивало, как кумач.

Вдруг чья-то пухлая, мягкая рука тяжело опустилась на плечо Нюты, и она почувствовала приближение кого-то сильного, большого у себя за спиной.

– Что это, сестра Клементьева, вы запугали совсем нашу барышню, – услышала над своим ухом Нюта знакомый низкий бас Кононовой, – небось, еще может статься, в деле-то она и нас с вами проворством да ловкостью своей за пояс заткнет. Вы по наружности не судите, сестрица. Видала я таких-то: с виду хлябенькая, в чем только душа держится, а в амбулатории либо в бараке на дежурстве – молния, так и носится, всюду поспекает. Смотреть любо... Ей-Богу!.. Господь с ними! Не сестра, а клад!

Умиротворяющим бальзамом, небесной музыкой звучали слова эти в ушах Нюты. Каждый звук мужицкого грубоватого голоса сестры Кононовой падал каплей врачующего лекарства на душу девушки.

«О, милая! Милая! Спасибо тебе, спасибо!» – мысленно твердила Нюта, делая невероятное усилие над собой, чтобы не расплакаться навзрыд. Она не помнила, как встали из-за стола сестры, как прочли послеобеденную молитву, как вышли все и она вместе со всеми из столовой.

Опомнилась она только в своей комнате, где горела та же электрическая лампа под красным абажуром и где веяло уютом и теплом. Она сидела на диване между Юматовой и Розановой, и Розочка своим детским голосом рассказывала ей:

– Завтра вам дадут казенные тряпки, полотно для платьев и передников, коленкор¹⁶ и прочую гадость. Надо шить самой, но так как вы шить именно не «горазды» (это любимое выражение нашей Кононихи, заметьте!), то наша Дуняша, девушка-прислуга, стяпает-сляпает вам всю эту музыку в какие-нибудь два дня за три целкача¹⁷, не больше. И в швах не разлезется. Чинно, благородно, все как следует быть. Совсем как в свете. За три целковых только... А потом, сегодня вы, душенька, в аудиторию не ходите. Козел Козлович и без вас сумеет напичкать головы наших курсисток всякой ученой мудростью. Вы устали. Возьмите лучше у Лели, то есть я хотела сказать у сестры Юматовой, какую-нибудь душевспасительную книжку и почитайте, соберитесь с мыслями... А после вечернего чая и на боковую... Да. Ну, кажется, все сказала, что надо, а теперь извините меня. Я должна задать храповицкого. Впереди – бессонная ночь.

И сестра-девочка грациозным движением соскользнула с дивана, чмокнула мимоходом задумчиво сидевшую Юматову и кошечкой подобралась к своей постели. Через минуту, крикнув тоном избалованного ребенка: «Лелечка, закрой мне ноги пледом», – она уже крепко спала, подложив маленькую ладонь под свою кудрявую голову.

¹⁶ Коленкор – дешевая гладкокрашенная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.

¹⁷ Целкач (целковый) – один рубль (первоначально рублевая серебряная монета).

Теперь она более чем когда-либо казалась мирно спящим ребенком. Пухлые щечки ее разгорелись во сне. Пушистые ресницы падали на них мягкой тенью. Ее ямочки улыбались, а полукоткрытый рот что-то беззвучно шептал.

Нюта не без удивления смотрела на спящую, невольно поддавшись очарованию, производимому на всех и каждого этим прелестным ребенком-девушкой.

– Не правда ли, как она мила? – обратилась к ней, заметив ее взгляд, Юматова и тут же заговорила, не дожидаясь ее ответа:

– Розочка общая любимица здесь... Но вы не думайте, что ее любят за счастливую внешность, за миловидность и красоту. – Розочку любят не за счастливую внешность, не за миловидность, – продолжала Юматова. – О, нет! Правда, Розочка самая молоденькая из сестер – ей едва минуло восемнадцать лет – и самая прелестная. По своему характеру она дитя, а по виду – очаровательный беспечный мотылек, а между тем видели бы вы этого мотылька в деле, на работе! Мало того что она готова дни и ночи ухаживать за больными, не имея ни минуты отдыха: она умеет одним своим весельем, жизнерадостным видом вдохнуть силу и бодрость духа самым трудным больным. Капризная, шаловливая, взбалмошная в частной жизни, она олицетворение кротости и терпения в бараке... Самое поступление ее в общину окружено дымкой ореола. У Розочки есть родители. Она дочь военного. Девочка с самого раннего детства какой-то фанатической любовью любила своего отца, как-то болезненно-чутко, до обожания. И вот, когда разгорелась Русско-японская война, отец Кати, капитан Розанов, должен был идти со своим полком на Дальний Восток. Он командовал ротой в самом жарком деле, и его ранили опасно. И тут... Розочка дала обет Богу отдать свою молодую жизнь на служение страдающему человечеству в случае, если выздоровеет ее отец. Розанов выжил, а его дочь, имея всего шестнадцать лет от роду, поступила к нам, в общину сестер милосердия. Ну, вот вы и знаете теперь, кто такая наша Розочка, – не без гордости заключила сестра Юматова свой рассказ.

Затем, помолчав с минуту, она проговорила снова:

– Если бы вы знали, как трудно бедной девочке, такой живой, огневой, кипучей, привыкать к педантично-суровому строю нашей жизни... Мелочи допекают Розочку... Характер у нее буйный, непокорный, а сердечко – чистое золото. Попадает ей от начальства, что и говорить. Зато работой своей все искупает Розочка. Поживете, увидите, что это за чудесный маленький человек.

Легкий стук в дверь прервал сестру.

– Войдите! – поспешила сказать Юматова и машинально оправила на голове косынку.

– Ольга Павловна зовет сестру Трудову, новенькую, на медицинский осмотр, – проговорила дежурная сестра, останавливаясь на пороге.

– Идите с Богом, душенька! – ласково отпустила Нюту Юматова.

Нюта вышла вслед за рыженькой сестрой.

* * *

В эту ночь плохо спалось Нюте. Как в калейдоскопе, чередовались события в ее усталой от смены впечатлений пережитого дня голове.

С каким ужасом вспоминалась сцена в приемном покое, когда два доктора в присутствии начальницы и рыженькой сестры тщательно выстукивали, выслушивали ее, смотрели глаза, десны, пробовали ее мускулы, испытывали нервы.

Бледная, испуганная предчувствием того, что ее должны будут забраковать, забраковать во что бы то ни стало, Нюта, как к смерти приговоренная, машинально исполняла все, что требовалось от нее, едва переводя дыхание, точно стараясь не дышать.

– Ну, что? – коротко осведомилась Ольга Павловна у старшего из докторов, уже знакомого Нюте Козлова.

И сердце Нюты перестало биться в ожидании его ответа...

– А то, что барышня наша здоровей всех нас троих, взятых вместе, даром что жидка и хрупка на вид, – с довольной улыбкой произнес тот, потирая руки.

– Замечательно крепкий, по-видимому, субъект, – вставил свое слово его молодой помощник, черненький, тоненький, гладко и тщательно причесанный человек, в черепаховом пенсне, с небольшими усиками, закрученными в струнку, – «Сёмочка» по прозвищу, в действительности же доктор Семенов.

– Ну, и слава Богу... Завтра к шести пожалуйста в аудиторию ко мне на съедение, вновь испеченная сестрица, – довольным голосом сказал ей тут же Козлов. – Вы как насчет анатомии, гигиены и прочей подобной им мудрости? А?

Но Нюта от охватившей ее радости, что она не забракована, принята в состав общины, не могла выговорить ни слова.

Эта радость заполонила ее всю.

И весь вечер эта радость доминировала над ее душой. Она же не давала ей задремать, уснуть и сейчас, когда все общежитие погрузилось в сон, столь желанный, сладкий и недолгий для утомленных, измученных за день работы тружениц-сестер.

Принята!.. Желание исполнено!.. Теперь только силы. «Господи, пошли мне силы справиться с моей задачей, оправдать доверие начальницы, докторов!..» – мысленно шепчет Нюта и вдруг, вся бледная, обливаясь потом, сразу садится на постели.

А паспорт? А чужое имя? А ее проступок перед людьми и законом? Что с ней станет, если кто-либо узнает о том, что она, Нюта, обменялась паспортом с Мариной Трудовой, слушательницей педагогических курсов, и выдает себя за эту Трудову. Ведь это преступление, подлог!

Дыхание сперлось в груди девушки, когда она вспомнила обо всем этом.

Правда, она паспортом обменялась на время только, на какой-нибудь год. И все-таки это обман. Но иначе она поступить не могла. Приди она, Нюта Вербина, в общину под своим собственным именем, генеральша Махрушина отыскала бы ее сразу и вернула обратно домой. О, вернула бы, бесспорно, наверняка!

Когда Нюта просила неоднократно отпустить ее в сельские учительницы, в сестры или на фельдшерские курсы, tante Sophie приходила в ужас, кричала на нее, плакала, впадала в истерику и упрекала Нюту в неблагодарности, говоря, что она таким поступком опозорит ее, Женни и весь дом.

И Нюта терпела, терпела, ожидая подходящего случая, чтобы уйти. Слишком прочно запали в ее душу добрые семена, посеянные с детства ее матерью и бабушкой, чтобы она могла отрешиться от своей заманчивой и прекрасной цели – посвятить себя всю какому-нибудь большому, самоотверженному делу, как это сделала ее мать. И она решилась.

Случай представился.

Марина Трудова, единственная приятельница Нюты из знакомых генеральши Махрушиной, с которой она сумела сойтись, как раз в это время бросала курсы и уезжала на родину в деревню, к больному отцу-помещику, нуждавшемуся в тщательном за собой уходе. И Марина, зная заветные мечты Нюты и ее горячее желание поступить в сестры милосердия, предложила ей обменяться паспортами потихоньку от всех.

– Если вы не можете поступить в сестры милосердия под вашей фамилией, возьмите на время мою. Назовитесь Мариной Трудовой. Это так просто. А чтобы не было сомнения, я вам передам мой паспорт. Вот вы и поступите в общину под моим именем, привыкнете, подучитесь. Мне паспорт совершенно не нужен в нашей глуши, где и становой¹⁸-то по два раза в год едва бывает. Да я возьму ваш, на всякий случай, в дорогу. Это даст вам возможность достигнуть

¹⁸ Становой пристав – чиновник уездной полиции, заведующий станом, определенной частью уезда.

вашей цели. Ведь никто же не узнает. А станете сестрой милосердия – милости прошу к нам. У нас в тридцати верстах есть село с больницей. Вы сначала к нам, а там мы с папочкой вас в больницу и пристроим. Разумеется, под вашим настоящим именем. Не правда ли, хорошо придумано, милая Нюта?

Но Нютина совесть говорила иное... Все было далеко не так хорошо, как это рисовала ей беспечная Марина. Пахло преступлением, подлогом, обманом, за который строго карает закон. Но выбора другого не было. И невольно приходилось принять опасный совет Марины...

Долго не могла уснуть в эту ночь Нюта. А когда, наконец, желанный сон сомкнул отяжелевшие веки, черный гнетущий кошмар чудовищным рядом видений опутал ослабевшее существо девушки, давя, терзая ее во сне. Чудились страшные сумбурные вещи. Какие-то огромные не то комнаты, не то катакомбы, по ним скользили серые призраки в белых косынках и, жутко лязгая зубами, что-то шипели, как змеи.

Ольга Павловна Шубина в одежде полицейского чина шла к ней и издали кричала:

– Где ваш паспорт, Анна Вербина? Где ваши документы? Подайте их сюда! Сию же минуту сюда!..

И чудовища шипели снова:

– Она не Трудова, нет, нет! А за это мы ее разорвем на части.

И с диким воплем и скрежетом они ринулись на нее.

Обливаясь потом, с замершим на губах криком Нюта проснулась.

В комнату пробирался промозглый, хмурый рассвет уродливого осеннего утра. В головах Нюты, сладко и громко похрапывая, спала Кононова, раскинув вдоль кровати свои широкие рабочие мозолистые руки.

Против нее, через комнату, лежала и, казалось, дремала бледная Юматова. Густая черная коса молодой женщины свесилась до полу. Она дышала трепетно и нервно. Посреди комнаты стояла Розочка в коротенькой нижней юбочке, делавшей ее похожей на подростка. Обычно розовое личико ее было сейчас бледно. Глаза не то рассеянно, не то задумчиво вперились в угол комнаты, где у группы иконок-складней теплилась розовая лампада.

Услышав, что Нюта шевелится на своей постели, хрустя пружинами матраца, она улыбнулась ей нехотя бледной улыбкой и кивнула головой.

– Что вы так рано? Спите. Еще шесть часов только. Вас разбудят ровно через час.

– Не спится... И сон ужасный видела... Ну, что ваша больная? Сестра Есипова, кажется? – внезапно вспомнив, спросила Нюта.

Розочка отвела глаза от Нюты. По ее красивому личику пробежала тень. Губы дрогнули. Она опустила голову на грудь и тихо, чуть слышно, прошептала:

– Сегодня... в четыре утра... сестра Наташа Есипова скончалась... Ужасно! Ужасно!..

И закрыв лицо своими детскими ручонками, как сноп упала на постель...

Глава VII

– Новенькую сестру Трудову зовут в амбулаторию внутреннего приема, на помощь сестрам Клементьевой, Кононовой и Двоепольской, – услышала Нюта звонкий голос позади себя.

Она живо обернулась. Перед ней стояла плотная, широкоплечая сестра с простоватым некрасивым лицом и пухлыми щеками.

– Я – Снуркова, познакомимся, – наскоро проронила она. – Вот вам халат. Надевайте поверх платья. Эх, беда, вы еще не в казенном платье, – досадливо поморщилась она.

– Еще не сшито, – как бы извиняясь, смущенно произнесла Нюта.

– Ну, это неважно. Но вот что: у вас суконное платье. Жаль. Не гигиенично. К шерсти-то пристает скорее всякая зараза, грязь. Впрочем, на нет и суда нет. Давайте я застегну вам халат сзади, сестрица. Да косынку повяжите, не то от Шубы нашей... тьфу, я хотела сказать от Ольги Павловны... как раз влетит.

Сестра вспыхнула, улыбнулась, и показался ряд прекрасных белых крупных зубов. Эта улыбка сразу скрасила и смягчила непривлекательную внешность Снурковой.

– Ну, идемте... Да вы завтракали? – спохватившись, спросила она.

– Да.

Нюта вспомнила, как она, ссылаясь на отсутствие аппетита, к немалому неудовольствию сестры-экономки, проворчавшей что-то о французской кухне и поварах, отказалась только что от нескольких горячих картофелин с маслом и селедкой, которые подавались за столом в 12 часов.

В полутемном амбулаторном коридоре сестра наскоро забрасывала шагавшую подле нее Нюту отрывистыми фразами.

– Ната Есипова умерла. Слышали? Славная была девушка, сердечная. Заразилась от тифозного больного. Бог знает, зачем судьбе понадобилась эта смерть. Ее вся община любила. Как Розочку... Милая девушка. И что мы теперь Бельской скажем... Не уберегли Наташу. Эх!..

– Кто это Бельская? Попечительница, да? – поинтересовалась Нюта.

– Бельская-то? Неужто вам никто еще про Бельскую не говорил?

– Нет.

– Ах ты, Господи! Да ведь Ольга Бельская – восьмое чудо света. Героиня в полном смысле слова и друг закадычный покойной Наташи... Сейчас она в дальней командировке. С часу на час ожидается назад. Ну, вот мы и пришли, однако. Входите смело, и Бог вам в помощь, сестра.

Спутница Нюты распахнула стеклянную дверь, и девушки сразу очутились в огромной светлой комнате посреди гудящей толпы народа.

В первую минуту глаза Нюты разбежались. От гула и шума, наполнявших амбулаторию, у нее закружилась голова, руки бессильно опустились вдоль тела. Невольная растерянность охватила Нюту. Сопровождавшая ее Снуркова затерялась сразу в толпе, и Нюта почувствовала себя здесь всем чуждой, лишней, беспомощной, одинокой. Она растерянно оглядела окружающую ее толпу.

Казалось, вся петербургская беднота сбегалась сюда, в эту светлую, чисто выбеленную комнату, с серым каменным полом, обильно политым дезинфицирующим средством, предохранителем от заразы. Это средство терпким, неприятным запахом ударило в нос и чуть кружило голову.

Больные стояли, больные сидели на лавках, больные беспокойно сновали взад и вперед. Тут были старики и старухи, молодые и пожилые люди, девушки и женщины. Были и дети. Отставные солдаты, мелкие уличные торговцы, прислуга, фабричные рабочие, извозчики, нищие, торговки-мещанки, бродяги. Кого только не увидела здесь Нюта! У каждого в руках был занумерованный билетик, выдаваемый молоденькой сестрой.

Особенно бросился в глаза Нюте один посетитель, не совсем обыкновенный среди всей этой сплошной бедноты.

Это был мальчик-итальянец, оборванный, лохматый и грязный, с ручной шарманкой на спине, лет десяти. Главным образом поразило Нюту его лицо. Такие лица редко встречаются в жизни. Их можно только, пожалуй, увидеть на старинных картинах итальянских мастеров. Каждая черточка жила и говорила в этом поистине прекрасном лице. Иссиня-черные кудри обрамляли живописной рамкой пылающие лихорадочным румянцем правильные, без единого промаха, точно изваянные черты. Черные глаза, огромные, лукавые и мечтательные в одно и то же время, казалось, отражали всю прелесть знойного итальянского юга.

Мальчик, по-видимому, страдал. С бессознательной, так свойственной его народу грацией он прислонился плечом к стене и с усилием сжимал отбивающие дробь озноба крупные белые зубы.

«Бедняжка, как он болен!» – пронеслось в мыслях Нюты, и она уже направилась в сторону мальчика, чтобы предложить ему сесть на освободившееся позади него место, как неожиданный резкий окрик заставил Нюту вздрогнуть всем телом.

– Так вот зачем вы явились сюда, сестрица!.. Чтобы любоваться непривычной вам обстановкой! Позвольте вас спросить, что вы – в театр или цирк явились или для дела? Могли бы не приходить... Это было бы много целесообразнее, сестра, нежели стоять так-то, разинув рот и опустив руки.

Хлестко, больно падало слово за словом на опущенную голову Нюты. Цыганские глаза сестры Клементьевой прожигали, казалось, насквозь смущенно поникшую фигурку девушки.

Видя это смущение, эту покорную позу и испуганное лицо, сестра Клементьева смягчилась.

– Ну, ладно, нечего киснуть... Вы на меня не сердитесь, барышня, – несколько спокойнее заговорила она. – Ужасно не люблю белоручек. Идите за мной. Вон наш хирург доктор Аврельский лубки накладывает. Там вы нужны, ступайте. Снесите ему эти бинты, марлю и вату.

И она слегка подтолкнула Нюту в сторону невысокого, худощавого старика желчного вида, с реденькими бачками по обе стороны сердито нахмуренного морщинистого лица, суевитившегося подле бледного как смерть человека, полулежавшего на скамье, с обнаженной вспухшей и посиневшей ниже колена ногой.

Увидев подошедшую Нюту и не обратив никакого внимания на новое, незнакомое для него лицо, хирург кратко и резко приказал девушке, как будто знал ее Бог знает сколько времени и уже давно-предавно работал с ней:

– Ага! Бинты принесли? Давайте... Да подержите ногу. Вот беспокойный объект попался. Держается невозможно. Нельзя работать... Держите.

Нюта покорно опустила на колени и осторожно коснулась руками распухшей ноги больного.

С губ последнего вырвался пронзительный вой.

– Больно... матушка-сестрица, ой, силушки моей нет, больно!.. Ой, смерть моя пришла!

Нюта, так храбро было приступившая к делу, при первых же звуках этого неожиданного вопля, живо отдернула руку, точно обжегшись у огня.

– Это что такое?! – вспыхнул Аврельский. – Да что вы шуточки сюда пришли шутить, барышня, либо делать дело? Нежности какие! Держите ногу, вам говорят! А ты не кричи, голубчик, – сразу меняя тон на более мягкий и гуманный, обратился к больному врач, – знаю, что больно, без этого нельзя никак обойтись... А ты возьми себе в толк, братец: здесь вас до шестисот набралось, и если все вы орать начнете, будет, братец ты мой, не амбулатория, а базар. Так сделай милость, уж воздержись маленько... А вы, сестрица, держите ногу крепко, не бойтесь. Поняли?

И – странно! – что-то словно ударило в эту минуту в самое сердце Нюту. И удар этот прошел магическим током по всему ее существу. Прежняя Нюта точно исчезла, скрылась, провалилась сквозь землю, а на месте ее появилась новая Нюта, и не Нюта даже, а сестра Марина Трудова, принявшая свое первое боевое крещение в этот слезный, хмурый осенний день.

Эта Марина Трудова держала теперь ногу больного, не обращая внимания на стоны и вопли мужика, затягивала концы марли, сдерживавшей лубки у щиколотки, потом подавала лекарство, отсчитывала капли успокоительного средства для особенно нервничавших больных.

– Сестра Трудова, сюда! – кричала Клементьева с противоположного конца приема, и Нюта стремглав летела на ее зов.

Цыганские глаза старшей сестры разгорелись, лицо багрово пылало, темные сросшиеся брови хмурились сурово.

– Скорее! Скорее шевелитесь, сестра! – торопила она Нюту, и та как вкопанная останавливалась перед ней.

– Вот, разденьте мне этого ребенка. Нужно осмотреть... – коротко приказала она, передавая Нюте сверток какого-то грязного ветхого тряпья, из глубины которого раздавался чуть слышный писк, похожий скорее не на детский плач, а на мяуканье больного котенка.

Нюта, в детстве помогавшая матери лечить больных деревенских ребятишек, быстро и ловко справилась со своей задачей. Через две-три минуты на лавке перед сестрой лежал голенький трехмесячный ребенок, беспомощно махая в воздухе крошечными ручонками и неумолчно вытягивая свое бесконечное «уа-уа-уа».

Под мышкой у ребенка зияла большая нагноившаяся рана.

Увидев эту рану, сестра Клементьева ахнула, и целый поток негодования и упреков полился из ее уст.

– Злодеи! Изверги! Каменные души! – кричала она, сверкая глазами. – Сгноили ребенка. Душеньку неповинную загубили зря... Да вас за это!.. Ты что это натворила, а?! Да как ты могла, как смела запустить болезнь, а? Да о чем ты раньше думала!? – неожиданно накинулась она на дрожавшую перед ней испуганную молодую бабенку в клетчатом платке, принесшую ребенка.

– Да мы, сестрица... мы, сестрица, – растерянно бормотала бабенка, – беднота у нас, конечно... Мы...

– Беднота... а, беднота! – не слушая ее снова кричала Клементьева. – А ноги у тебя есть? Ноги, говорю, тебе от Бога зачем даны... а? Не могла сюда дитячко раньше принести, показать? Зачем ждала, запустила?... Сестра Трудова, обмойте рану, вот сулема¹⁹ в цилиндре, вата в коробке... Да руки сами вымойте предварительно сулемой. Готово будет, доктора Семенова зовите, Аврельскому некогда... и не добратья до него...

Последние слова старшей по приему сестры уже застали Нюту за делом. Она тщательно обмывала рану ребенка, потом бежала за Семеновым («Семочкой», как его прозвали в общине), какой-то мазью обмазывала ранку больного малютки и бинтовала ее.

Едва успела она справиться с этим, как густой, низкий бас Кононовой раздался за ее плечами:

– Сестрица, № 127 вызовите, термометр ему поставьте... Да придержите термометр-то сами, мальчишка обессилел совсем, валится с ног.

Через минуту нежный голос Нюты прозвучал высокой, звенящей нотой на всю приемную:

– Номер сто двадцать седьмой!

В следующее же мгновение перед ней стоял красивый маленький итальянец, с пылающим от жара лицом и нестерпимо горящими глазами.

¹⁹ Сулема – химический препарат, применявшийся в медицине для обеззараживания кожных покровов, одежды.

– Сними шарманку... расстегни куртку... Садись... Ты понимаешь по-русски? – роняла она.

– Sì²⁰... Совсем малость... Немножко...

– Подними руку... Так... Не бойся, тебе не причинят зла... Видишь холодное маленькое стеклышко? Надо его поставить тебе под мышку. Ты понял? Да?

– Sì, signorina²¹.

– Называй меня сестрой.

– Sì...

– Тебе худо, да?

Мальчик не ответил и бессильно склонился к Нюте на плечо. Черные кудри упали ему на лоб. Зрачки закатились, обнажив два страшных, синеватых белка...

Термометр выскользнул у него из под руки, упал на пол и разбился.

– Господи! Этого еще не доставало! Руки-крюки! Уж сидели бы дома, если не умеете дела делать. Не лезьте на прием! – крикнула с раздражением подоспевшая Клементьева и, заметив неестественно вытянувшееся на руках Нюты тело маленького итальянца, нахмурилась, схватила его руку, просчитала пульс и, помолчав минуту, коротко приказала встревоженным голо-сом:

– Позовите служителей с носилками. Ребенка надо отнести в тифозный барак.

²⁰ Да (*итал.*).

²¹ Да, барышня (*итал.*).

Глава VIII

В тот вечер Нюта буквально не чувствовала ног под собой. Усталость давала себя знать. После приема ей пришлось убирать амбулаторную палату, прятать пузырьки, колбочки с лекарствами, мыть инструменты, свивать бинты и скрести щетками пол вместе с двумя такими же «испытуемыми», на обязанности которых, по принятому в общине обычаю, до посвящения их в чин сестер была вся черная работа.

И все время неотлучно стоял перед мысленным взором Нюты маленький итальянец-шарманщик, которого замертво отнесли два служителя на носилках в тифозный барак.

– Ну, что, приняли первое крещение? Несладко, я чаю, на первых-то порах показалось, поди? – спросила ее во время обеда сестра Кононова, и ее грубоватое лицо осветилось необычайно мягкой улыбкой.

– А новенькая-то сестренка у нас, Ольга Павловна, молодец! Ей-Богу же, совсем молодец! – неожиданно обратилась она к сестре-начальнице.

– А кому, Ольга Павловна, счет разбитого градусника представить? Я слышала, градусник в амбулатории разбили, – любезно улыбаясь глазами и ехидно поджимая губы, обратилась к Шубиной ее помощница, Марья Викторовна.

– Ах, оставьте! Непременно вам нужно кого-нибудь обидеть! – прошептала со сдержанной злостью Кононова и, видя, как Нюта вся вспыхнула от смущения, зардевшись ярким румянцем, зашептала ей тихонько на ушко: – Ничего, сестрица... Проглотите... Не кто иной ведь язвит, как Маришка наша. Все мы ее за ехидство не терпим... Не обращайтесь на нее внимания, сестреночка.

Но не обращать внимания Нюта не могла. Воспитанная, чуткая и впечатлительная от природы, она была глубоко смущена и происшедшим с ней промахом, и замечанием помощницы начальницы.

Предложить же заплатить за градусник из небольшой суммы карманных денег, оставшихся у нее в портмоне, она не решалась. Могло выйти еще более неприятное недоразумение. И волей-неволей Нюта проглотила обиду.

К счастью, разговор за столом вертелся вокруг печального случая минувшей ночи. Говорили о Наташе Есиповой, о ее последних минутах. Она умерла на руках Розочки и Ольги Павловны, ни на минуту в последнюю ночь не покидавших больную. Говорили о желании отца Наташи хоронить дочь самому, помимо принятого обычая отпевать в общине усопших сестер.

– За ней приедут вечером сегодня и увезут от нас нашу милую Наташу, – произнесла Ольга Павловна, и Нюта снова не узнала обычно спокойного и сурового лица ее.

Веки Шубиной были красны от слез, лицо осунулось и за одни сутки постарело по крайней мере лет на десять. Тяжелая продольная складка залегла между темных бровей.

– А «бабушка» наша читает над покойницей... До увоза ее читать будет, – сказал кто-то из сестер.

– Да. И Розочка с ней, и Юматова. Не оставляют бедную Наташу, – произнес еще кто-то за столом.

Тут только, подняв голову, заметила Нюта, что места Розановой, Юматовой и старейшей из сестер – Кирилловой – заняты другими.

– А Бельской дано знать? – снова услышала она тут чей-то вопрос.

– Как же! Я еще утром телеграмму послала, – отозвалась Ольга Павловна и поникла седящей головой над тарелкой.

И Нюте послышалось, как будто сестра-начальница не то вздохнула, не то прошептала тихо-тихо, чуть слышно самой себе:

– Бедная Наташа! Бедная Наташа!

– Курсистки-испытуемые, в аудиторию пожалуйста! Валентин Петрович давно ожидает! – раздался громкий голос.

Когда Нюта вошла в небольшой светлый покой со столами и скамейками как в школе, с черной аспидной доской²², мольбертом в углу и с кафедрой для лектора посередине, ей живо пришел на память институтский класс, такие же столы-пюпитры, такие же длинные скамейки, такие же кафедра и доска.

В аудитории находились все пять «испытуемых», в ситцевых платьях и полосатых синих рабочих передниках, с черными косынками на головах. Нюта быстрым взглядом окинула их. Была здесь и пожилая седовласая сестра, с худыми морщинистыми щеками, и крепкая, здоровая, купеческого типа краснощекая женщина с простоватым лицом, и три совсем молоденькие, почти юные сестры, с веселыми, по-детски довольными лицами, хихикавшие чему-то в углу комнаты.

– Ну, вот и вы, сестренка! Теперь можно и начинать, – приветствовал Нюту знакомый уже ей доктор Козлов, наскоро пожимая девушке руку. – Вы, сестричка, умудрились как раз в «самую центру вгодить», как говорит мой почтенный коллега доктор Ярменко... Ваше поступление в нашу богоспасаемую обитель как раз совпало с началом лекций... А что, небось, не больно-то ладно, сестричка, на школьную скамью возвращаться? Ну, да ничего не поделаешь. Через шесть недель косынку уголком носить станете и себя ух какой мудрой девицей считать будете! – и внезапно сделавшись серьезным, теряя обычную шутивную улыбку на своем свежем по-стариковски лице, Козлов произнес совсем уже иным тоном:

– А вы, сестричка, насчет анатомии как?

– Я ее проходила в институте. У нас для желающих существовал особый класс, был устроен курс анатомии, гигиены и первой помощи. Последней, впрочем, меня мама еще в детстве, когда я была десятилетней девочкой, выучила, – смущенно вспыхнув, произнесла Нюта.

– Ого! – промолвил Козлов таким тоном, что Нюта не поняла, обрадовался он или посмеялся над ней. – Ого! Да вы совсем у нас ученая барышня. Вас, пожалуй, и проэкзаменовать можно. А? Только чур, я бодаться зол, как и всякий козел. Берегитесь ошибаться, сестрица!

Три молоденькие «испытуемые» смешливо фыркнули при этой шутке. Пожилая сердито нахмурилась. Румяная «купчиха» с откровенным благоговением взглянула на Нюту. Она накануне только спутала два понятия, анатомия и астрономия, и, будучи дежурной, крикнула на весь коридор: «На лекцию по астрономии пожалуйста, сестры», – к немалому удовольствию молодых сестер.

– Ну-с, ученая сестричка, – снова обратился к Нюте Козлов, – пожалуйста-ка сюда. Вот вам анатомический атлас. Расскажите, что вы знаете о сухожилиях, ась?

Вся красная от смущения, Нюта сначала робко, потом все смелее и смелее передавала все, что знала по заданному вопросу.

Она не хотела сознаться Козлову, как долго и терпеливо приходилось ей сидеть последние месяцы за учебниками, перед тем как поступить в общину.

Козлов слушал девушку внимательно, не прерывая ее ни на минуту.

Когда она кончила, он посмотрел на нее строго, почти недоброжелательно, сердито, что так мало гармонировало с его радушным улыбающимся лицом, и сурово бросил вопрос:

– А насчет гигиены как? Первое предостережение заразы знаете, при оспенном заболевании, например?

Нюта успела почерпнуть и эти сведения в последний месяц пребывания дома. Рассказала кратко и просто то, что требовалось от нее. Слушая ее ответ, Козлов мотал головой и время от времени испускал многозначительное «гм! гм!».

– А повязку, бинты на лубки наложить умеете?

²² Аспидная доска – доска из черного сланца.

– Умею, – робко проронила Нюта.

– Уж будто? – прищурился Козлов. – И по хирургии, значит, сильна. А вот посмотрим: сделайте на мне повязку. У меня карбункул²³ на плече, вернее, на сюртуке... Можете вы себе представить, что у меня на сюртуке карбункул?

Нюта взглянула на доктора. Лицо его было совершенно серьезно, даже сердито, брови сурово сдвинуты, а глаза смеялись.

– Вот вам бинт, – вынимая из ящика стола белый сверток и подавая его Нюте, проговорил он отрывисто, – жарьте повязку.

Волнуясь как школьница, Нюта взяла марлю и ловко засновала пальцами поверх сюртука доктора. Через минуты две-три плечо Козлова оказалось забинтовано марлевым бинтом самым искусным образом.

– Готово! – сорвалось застенчиво с губ Нюты. В душе ее закипел невольный страх. А вдруг не так что-нибудь? Вдруг не понравится?.. Засмеет, рассердится, пожалуй.

Козлов между тем, подумав немного, ударил кулаком по столу кафедры и крикнул на всю аудиторию громким, свирепым голосом:

– И на кой ляд вы лезете сюда!?

Нюта вздрогнула с головы да ног. «Вот оно! Не угодила! Сплоховала! Все пропало! Все!» – мысленно произнесла девушка, бледнея и трепеща.

– И на кой ляд... вы... – снова загредел Козлов и вдруг звонко, весело и добродушно расхохотался. Все лицо его смеялось, смеялись губы, смеялись глаза, смеялись бесчисленные морщинки, бороздившие кожу.

– Шут знает что! Готовая сестра. Хоть сейчас на самое ответственное дежурство посылай ее, а она в курсистки, извольте ли видеть, лезет! Да, сестричка-голубушка, знаете ли, что ученого учить – только портить. Ступайте вы к Ольге Павловне, сестричка, и скажите вы ей, что пусть она вас по специальностям разным, на лекции по глазным болезням, зубным и массажу посылает, а меня от себя избавьте. И знать вас не хочу! – и он замахал обеими руками на Нюту и отскочил от нее с таким видом, точно перед ним находилось какое-нибудь чудовище, а не девушка-сестра с молодым, приветливым, теперь исполненным счастья лицом.

Не слыша ног под собой, выпорхнула из аудитории Нюта.

Лишь только миниатюрная, тоненькая фигурка девушки скрылась за дверью, Козлов, окинув глазами своих немногочисленных слушательниц, развел с комическим видом руками.

– Вот тебе на, сестрицы! Неожиданность, могу сказать, девяносто шестой пробы!.. Вот, поди ж ты, «сюрприз» какой, как выражается сиделка Аннушка... Думал, грешным делом, как увидел сестру Трудову: «Куда тебе, матушка, в сестры идти, твое платьице у француженки первоклассной сшито, а ногти на розовые помадки похожи; тебе фэйф-о-клоки²⁴ разные да рауты²⁵ посещать да лепетать, как сорока, на французском диалекте, белоручка ты, барышня великосветская; небось, двумя пальчиками, оттопырив мизинчики, будешь больных приподнимать...» А она-то... ах, семь тебе восемь, просто сконфузила меня, старика. Ей-Богу! И не будь я ваш старый ворчун, доктор Козел бодливый, если она, Трудова то есть эта самая, еще не отличится так, что вы ахнете все! – с теплой улыбкой заключил мягкими, задушевыми звуками речь свою Валентин Петрович.

²³ Карбункул – фурункул с обширным омертвением подкожной ткани и кожи.

²⁴ Фэйф-о-клок – старинная английская церемония пятичасового чаепития.

²⁵ Раут – званый вечер, прием.

* * *

В это время Нюта спешила в квартиру начальницы по длинному коридору, где теперь, благодаря вечернему часу, горели редкие электрические рожки.

Смутно помня дорогу, девушка шла наугад. Вот стеклянная знакомая дверь. Она почему-то открыта. Нюта неслышно входит в нее. Крошечная проходная комната... За ней другая... Темно... Только из третьей льется струя света. Нюта, не отдавая себе отчета, входит туда и замирает на пороге...

У икон, помещенных в старинном угловом киоте, теплится лампада. А перед киотом, распростершись на полу, как бы замерев в земном поклоне, лежит Шубина.

Смущенная Нюта хочет повернуть обратно, уйти незаметно, и точно какая-то сила приковывает ее к месту. Ольга Павловна поднимает голову. Нюта видит ее лицо в профиль и не узнает его. Оно залито слезами. Слезы текут непрерывно, сбегая по щекам, падают на сухую, плоскую грудь начальницы.

– Боже, Великий и Милосердный! – шепчет сестра-начальница. – Чем я прогневила Тебя?! Новая смерть!.. Новая жертва!.. О, Всесильный, Милостивый Господь! Услышь мою молитву, сбереги мне детей моих, любимых моих, дорогих детей-сестер!.. Если нужно, понадобится новая жертва Тебе, Создатель, понадобится новое испытание – возьми мою старую, ненужную жизнь, Боже Всемогущий, и огради от гибели и смерти вверенных мне сестер. Возьми мою жизнь, Господи! Не дай погибнуть сестрам моим, как Наташе...

Внезапно она поднялась с колен, высокая, прямая, с лицом, исполненным самоотвержения, жажды подвига, готовности принести всю себя в жертву за других. Из ее влажных, залитых слезами глаз исходил свет, делавший все ее некрасивое пожилое лицо молодым, вдохновенным, почти прекрасным. Чистая, красивая душа этой женщины смотрела из ее глаз, из ее лица, обычно такого сурового, строгого, жесткого, почти отталкивающего своей недоступностью. Нюту неудержимо потянуло упасть к ее ногам, целовать ее руки.

Так вот какая теплота, невыразимая, самоотверженная любовь царили в душе этой женщины, по виду такой сухой и холодной!

Легкий вздох вырвался из груди Нюты; но как ни тих был этот вздох, он достиг чуткого слуха Ольги Павловны.

– Что вам угодно, сестра Трудова? – сразу принимая свой обычный ледяной вид, произнесла начальница. И брови ее нахмурились. В глазах мелькнул огонек досады.

Но Нюта не успела ответить, так как в это время вбежала запыхавшаяся черненькая, как мушка, сестра Двоепольская.

– Ольга Павловна... Наташу увозят... Литию²⁶ в амбулатории сейчас будут служить... – проговорила она и исчезла так же быстро, как появилась, за дверь.

– Идем, сестра... Вы ее не знали, но, как усопшему другу страдающего человечества, воздадите ей последний долг... – произнесла Шубина, взяв под руку Нюту и выходя с ней из своей квартиры.

В амбулатории, где работала покойная Есипова, собралась вся община, все сестры, бывшие налицо, доктора, администрация, прислуга. Нюта видела закрытый наглухо гроб, тихо покачивавшийся на плечах сестер, пожелавших нести до ворот усопшую подругу, и высокого старика, с лицом, закаменевшим от горя, печального, как сама смерть. То был отец умершей. Перед ней мелькнули заплаканное личико Розочки, бледное, серьезное, строгое лицо Юматовой, взволнованные лица других сестер.

²⁶ Лития – моление об умерших, более короткое, чем панихида.

Священник, престарелый, библейского вида старец, дрожащим голосом читал молитвы. Сестры пели. И протяжный трогательный напев «Святой Боже» наполнял собой, казалось, каждый уголок огромного белого здания общины.

Когда лития кончилась, сестры вынесли гроб на улицу, где служители поместили его в заранее заготовленный свинцовый ящик, который поставили на ожидавшие у ворот дроги.

Сестры пропели в последний раз, и дроги тронулись по направлению к железнодорожному вокзалу, так как отец умершей сестры милосердия решил увезти в родовое имение тело единственной дочери, чтобы опустить его там в фамильный склеп.

– Была Наташа – и нет Наташи! – прозвучал вблизи Нюты голос одной из сестер.

Девушка взглянула на сестру-начальницу. Но лицо Ольги Павловны снова замерло в его ледяном покое. На нем не было видно ни тени волнения и недавних слез...

Оно было замкнуто, холодно и спокойно.

Глава IX

Прошли две недели. Вихрем пронесли́сь дни, сменяясь и чередуясь, как в калейдоскопе. Жизнь вертела неустанно – день и ночь – свое быстрое, неутомимое колесо, и в этом колесе вертелась, кружилась, кипела и горела Нюта. То, что приходилось переживать ей теперь, казалось какой-то сплошной горячей вакханалией работы.

Бурля своей кипучей деятельностью, теперь наступила новая эра Нютино́го существования.

Поднимаясь ежедневно в семь часов, она спешно причесывалась, мылась, одевалась и, проглотив наскоро чай, после общей молитвы летела на амбулаторный прием.

Необходимо было приготовить инструменты, теплую воду, дезинфекцию и лекарства к приему больных, облить и тщательно еще раз обтереть раствором сулемы скамьи и столы, вымытые накануне.

В девять собирались больные. Их иной день бывало до тысячи человек.

Тут-то и начиналось самое пекло горячечной работы. Не чуя ног под собой, Нюта носилась из одного конца приема на другой. Здесь перевязывала, там обмывала раны, отсчитывала капли лекарств, помогая докторам и старшим сестрам, как могла и умела.

От лекций в аудитории она была освобождена, кроме специальных по глазным, зубным и горловым болезням. Но это были нетрудные, легко усваиваемые предметы, и просидеть и прослушать их было скорее удовольствием, нежели трудом для Нюты. Точно так же было приятно изучать и массаж. Труднее чувствовалась общинная жизнь при иных обстоятельствах.

Каждую субботу младшие и испытуемые сестры должны были производить полную, основательную уборку приемных покоев, до мытья полов включительно. И тут-то жутко приходилось Нюте с непривычки: таскать тяжелые ведра с водой, разведенной крепким дезинфицирующим составом, скрести целыми часами пол, ползая на коленях, оставаться подолгу на ветру и сквозняках при открытых форточках. Хуже всего допекали девушку острые, едкие дезинфицирующие составы, к которым приходилось прибегать во время уборки. Крепкий раствор сулемы и карболки разъедал ее нежные руки. Белая кожа потрескалась и сморщилась на пальцах, ладони покрылись мозолями и загрибели.

Да и вся Нюта, не только руки ее, изменилась до неузнаваемости в этот короткий срок. Новый скромный полотняный халатик, платье и широкий докторский передник скрадывали теперь тонкую врожденную грацию ее изящной фигурки. Черная косынка, покрывавшая голову, придавала девушке вид послушницы из монастыря.

Изредка останавливалась она перед туалетным столиком Розочки, заглядывала в зеркало и не узнавала себя.

– Господи! Да неужели же это я? Я – Нюта Вербина, та самая Нюта, что еще две недели тому назад разливала чай в японской гостиной и любезной улыбкой светской барышни отвечала на шутки гостей?!

Сестры, вначале косо поглядывавшие на «барышню-белоручку», которую они предполагали встретить в Нюте, теперь, внимательно приглядевшись к трудолюбивой, выносливой, работавшей не покладая рук девушке, изменили, казалось, свое первоначальное мнение о ней. Одна только ничем не довольная, грубоватая сестра Клементьева все еще недоброжелательно поглядывала на Нюту и то и дело грубо «шпыняла» ее за всякий самый незначительный промах. Да еще сестра-помощница Мария Викторовна почему-то невзлюбила ее и, встречаясь с ней, ехидно поджимала свои и без того тонкие губы и роняла мимоходом:

– Преуспеваете, сестрица! Слышала, слышала... Только вот как дальше-то на дежурствах пойдет... Это еще что – цветочки, сестрица, ягодки впереди, впереди... Да... Трудненько вам придется. Не привыкли вы с детства к труду. В холе росли, очевидно...

Ах, как не терпела Нюта эту притворно-любезную, но таившую в себе змеиное жало сестру! Впрочем, не одна Нюта не выносила Мартыновой: вся община единодушно ненавидела «Марихен» и «ехидку», как сестры окрестили ее.

Тяжелый физический труд, вечное стремление успеть вовремя с работой, постоянная напряженность делали то, что к вечеру измученная до полусмерти Нюта едва добиралась до постели, падала на нее как сноп и засыпала мертвым сном.

Она не слышала, как собирались в их комнате сестры, предпочитая «десятый номер» всем прочим помещениям общежития. Не слышала, как приходила сестра Двоепольская с гитарой и, наигрывая на ней цыганские и русские песни, подтягивала симпатичным тоненьким, чуть надтреснутым голоском. Не слышала, как Розочка, разойдясь иногда, проходила павой под звуки «По улице мостовой» русскую, к общему удовольствию сестер, или как бледная, тонкая, грустная Юматова нежно и красиво декламировала Надсона, любимого своего поэта, с захватывающим выражением произнося стихи. Не слышала, как толстая Кононова рассказывала про свое родное село, где она жила у отца-дьякона, доводившегося ей дядей, и пекла просфоры²⁷, прежде нежели поступить сюда.

Нюта ничего не слышала, не видела, не ощущала в такие минуты.

Она спала, как мертвая, без всяких сновидений и грез.

* * *

– Ну, Мариночка, целуйте меня. Я принесла вам радость. Целуйте скорей! – и вбежавшая в комнату Розочка подставила Нюте одну за другой свои свежие, смеющиеся и сияющие обычными лукавыми ямочками щеки.

Нюта, присевшая после долгого, утомительного рабочего дня в покойное мягкое кресло и сшивавшая длинные, казалось, бесконечные бинты из марли, подняла на вошедшую свои большие серые вопрошающие глаза.

– И все-то она врет, Розочка... Не слушайте вы ее, язык без костей, мелет, что хочет, – грубовато пошутила Кононова, отдохавшая на постели после дневного дежурства.

Юматовой не было. Она отпросилась на кладбище навестить могилки детей.

– Ну, уж вы бы помалкивали, госпожа «просвирня», – задорно надувая губки, произнесла Катя. – Вы на бедную Розочку всегда рады напасть, а Розочка действительно принесла новость. Очень хорошую, очень желанную для кого-то новость!

И сделав лукавую рожицу, Катя покосилась на Нюту.

– Что такое, сестра?

Большие серые глаза Вербиной вспыхнули. Румянец залил бледное лицо.

– Не томите, Катюша, – шепнула она чуть слышно.

– Ну, уж так и быть, смилостивлюсь, скажу! Ольга Павловна вас нынче на ночное дежурство в барак на помощь сестре Клеменс назначит. Что, не ожидали? Да?

– Ах!

В этом «ах!» сказала вся бурная, давно ждавшая этого случая душа Нюты.

Дежурство в бараке! Так вот она, так долго желанная цель!

Как она мечтала об этом всю эту неделю, мечтала робко, несмело в тайниках своей души, в самых потаенных глубинах мыслей.

Первое дежурство!

Только настоящая, закаленная сестра, «крестовая», деятельница общины могла надеяться на такое лестное доверие со стороны начальницы.

²⁷ Просфора (просвира) – церковный, хлеб с оттиснутым изображением креста, употребляемый для причащения.

– Полно, Катюша, вы не ослышались ли? – застенчиво осведомилась она, боясь поверить своим ушам. – Действительно меня, а не кого другого назначили на ночное?

– Она великолепна, эта Мариночка! Сестра Кононова, Конониха, «просвирня» заспанная, взгляните вы только на этот экземпляр! Не верит своему счастью! Кононова, вам я говорю или нет? – тормошила Розочка снова задремавшую было сестру.

Та рассердилась.

– Ужо постойте, я в вас запущу подушкой, – говорила Кононова. – Спать невмоготу хочется, а она не дает покоя. Да отстань ты от меня, верченая, тьфу, прости меня Бог.

– Какая есть, не взыщите-с, – комически, по-мужски расшаркиваясь перед Кононовой, хохотала Розочка, и, сморщив свой хорошенький носик, оттянув углы рта и задрав голову, она мелкими шажками затрусилась по комнате и затащила тоненьким голоском с ехидно-любезной улыбочкой на лице:

– Вы, сестрица, немножечко изволили провиниться перед уставом нашей глубоко почитаемой общины... И вы, сестрица, осмелюсь вас предупредить, нарушили этим одно из...

– Ха-ха-ха! Да ведь это Марихен наша! Сразу узнать! Как ты это ее ловко! Ай да Розочка! – захохотала своим грубым, добродушным смехом Кононова, тяжело поднимаясь и садясь на постели. – Ну тебя, довольно, уморила, не могу!

– Уморила, уморила, уморила! – запела вдруг на все общежитие Розочка, будя и вспугивая, как притаившуюся птицу, немую тишь коридоров и комнат.

В ту же минуту приоткрылась дверь, и в «десятый номер» просунулась голова помощницы.

– Вы, сестрица, немножечко изволили... – затащила с ехидной улыбочкой Марья Викторовна и не закончила фразы. Розочка прыснула и, бросившись в угол между шкафом и печкой, тряслась от смеха, надрывавшего все ее существо. Толстая Кононова уткнулась в подушку носом и, давась от хохота, тоже тряслась вся, всем своим огромным телом.

– Вы, сестрица, изволили нарушить... – тянула в дверях Марихен, удивленно негодующими глазами переходя от одной смеющейся фигуры к другой.

И вдруг, поняв причину общего смеха, багрово покраснела и пробормотала себе под нос:

– Невозможно выносить больше этого! В «десятом номере» сестра Розанова республику какую-то устроила! Стыд и срам!

И, рассерженная, скрылась за дверью. Нюта, едва сдерживая улыбку, смотрела ей вслед.

Глава X

– Ну, вот и театр военных действий! С Богом, поручик! Сестра Клеменс, вот вам помощница на сегодняшнюю ночь. – И Розанова отвесила низкий, поясной, умышленно форсированный поклон пожилой дежурной сестре, женщине с подвязанной щекой и с выражением тупого страдания на лице.

– Что это, у вас зубы болят? – неожиданно переходя на иной тон, сочувственный и теплый, осведомилась у нее Катя.

– Да, флюс... Пломбировать идти к сестре Богдановой надо, – с чуть заметным нерусским акцентом произнесла сестра. – Всю ночь ноет сегодня... А больные, как назло, беспокойные нынче. Ужас!

– Хотите, сменю вас? – живо предложила Розанова.

– Ах, нет, что вы. Вы предыдущую ночь дежурили, Бог с вами! – сконфузилась немка.

– Ну, как хотите... Пойду Юматову уболагодворять. Тоже сегодня глаз не сомкнет ночью... Наплакалась на кладбище, бедняжка. Счастливо оставаться, Мариночка. Прощайте, сестра Клеменс, доброй ночи.

– Доброй ночи, милое дитя.

Немка долго смотрела вслед Кате, до тех пор пока миниатюрная фигурка сестры-девочки не скрылась за дверью тифозного барака.

– Ну, в добрый час! Начинайте с Богом! – обернувшись к Нюте, проговорила она. – Прежде всего надо термометры поставить и компрессы переменить на ледяные мешки. А я пойду поить чаем номера второй и восьмой, а потом в мужское отделение пройти надо. Вы справитесь одна? У меня здесь двадцать шесть больных женщин и один ребенок.

– Справлюсь... даст Бог... – тихо проронила Нюта и вошла в барак.

Электрические лампочки под матовыми колпаками освещали белые, яркие, окрашенные клеевой краской стены. По обе стороны широкой входной двери, ведущей в коридор, изголовьями к стенам стояли два ряда кроватей с больными, образуя посреди комнаты большой свободный проход.

Над изголовьем каждой койки, на высоком металлическом пруте была прибита черная дощечка с белой, сделанной латинскими буквами надписью – названием болезни. Между кроватями в узеньких проходах стояли шкафчики-столики. В углу висел большой образ, изображающий Вознесение Господне, с мерцающей перед ним лампадой. У дверей находилась постель дежурной сиделки. В окна с опущенными белыми шторами проникала петербургская ночь.

Все это Нюта успела осмотреть одним взглядом, когда с крайней постели неожиданно послышались стоны.

Нюта поспешила туда.

На высоко взбитых подушках покоилось бледное, желтое, высохшее, как пергамент, лицо старухи, с заострившимися чертами, с двумя пятнами лихорадочного багрового румянца, выступившими на резко выдававшихся скулах, обтянутых желтой, сморщенной кожей. Седые космы волос выбивались из-под чепца. Губы, потрескавшиеся от жара, неслышно шептали что-то.

– Что, тебе, бабушка, плохо?... Да? – наклонилась над старухой Нюта.

– Плохо... сестрица... Плохо, милосердненькая... Ой, смертушка никак идет ко мне... Маятно мне, сестричка... Родименькая, ой, маятно мне... Ох, маятно, сердешная, все нутро горит... Испить бы...

– Попей, бабушка, Господь даст, полегче станет.

И Нюта, осторожно приподняв отяжелевшую голову старухи, другой рукой берет кружку с питьем, стоящую тут же на столике, и подносит к ссохшимся от жара губам, потом быстрыми

и ловкими руками разбинтовывает больной живот старухи (у нее был брюшной тиф в затяжной форме), снимает нагревшийся, как печь, сухой компресс, смачивает его у крана в коридоре и, плотно выжав, снова укладывает на прежнее место, прикрыв его клеенкой с фланелью, и быстро забинтовывает живот.

– Пошли тебе Господь, сестринька, родненькая... Полегше будто, – залепетала, успокаиваясь, старуха. – Ишь ты, молоденькая какая, годочков-то семнадцать есть ли? – внезапно, засмотревшись на Нюту, осведомляется она.

– Деятнадцатый уж кончается, бабушка, старуха уже я, – шутит Нюта, кивнув с ободряющей улыбкой больной, ставит ей градусник под мышку и спешит к другой больной.

По соседству с койкой старухи лежит молодая девушка из фабричных. Она мечется без памяти и бредит запекшимися губами.

Нюта зовет сиделку и при ее помощи меняет пузырь на голове больной, перебинтовывает ее и поит водой...

Дальше обходит Нюта барак. Старые и молодые, изможденные недугом лица. Больные стонут, кричат. У иных широко раскрыты лихорадочно сверкающие глаза. Иные спят, другие мечутся без памяти, выговаривая бессвязные, дикие слова. Какой-то сплошной сумбур смешанных резких, невнятных звуков наполняет тифозный покой. Странно и жутко их слышать с непривычки.

И вдруг громкий, пронзительный вопль острым, режущим звуком пронизывает покой. Вопль несется с крайней койки, что у окошка. Нюта, испуганная, потрясенная, бежит туда.

На койке сидит маленькая скорчившаяся фигурка. Сидит и кричит в одну ноту пронзительным, тягучим воплем, раздирающим душу.

Нюта видит наголо остриженную, как шар круглую черную головушку, огромные, сверкающие безумным огнем черные, глубокие, как две ямы, глаза и ссохшиеся искривленные губы. Ослепительно белые зубы, чуть покрытые желтоватым налетом, эти огромные прекрасные глаза напоминают кого-то Нюте.

«Боже, да ведь это давешний итальянец!.. Маленький шарманщик! Как я раньше не узнала его!» – просыпается в голове девушки неожиданная догадка.

Она поднимает глаза на черную дощечку и читает: «Джиованни Маркони, шарманщик, уроженец Венеции; девяти лет».

– Тебе худо, милый? – наклоняется она к мальчику.

Черные глаза поднимаются на нее с безумным выражением, вызванным нечеловеческой мукой, и вдруг что-то похожее на сознание пробуждается в них. Вопль, разрывающий грудь, прерывается на мгновение. Две худые, как плеточки, измученные жестоким недугом ручки внезапно обвиваются вокруг шеи Нюты.

– *Mia sorella*²⁸! – шепчут пересохшие губки и пыщут нестерпимым жаром в лицо Нюты.

Блаженная улыбка скользит по нежным чертам маленького больного и исчезает в безднах его черных сверкающих глаз.

Он так впился рученьками в шею Нюты, что трудно вырваться от него. С соседней койки приподнимается женская голова.

Это выздоравливающая. Вид у нее не такой слабый, хотя изможденное, исхудалое, как тень, лицо говорит без слов о недавно пережитых жестоких страданиях.

– Вот он все так... Итальянчик этот, – говорит шепотом женщина, – сестру Юматову «*madre*»²⁹ величал; вас по-иному, сестрица. И беспокойный какой, страшное дело: его наемни сестрица-дежурная привязывала к постели. Вскакивал все, да и ну бежать, только смотри... Жар у него, 41°, сказывали, показывало поутру...

²⁸ Моя сестра (*итал.*).

²⁹ Мама (*итал.*).

Но Нюта и без этого объяснения знала, что мальчик в жару. Его горячее тельце буквально палило, как солнце юга в полдень. Было душно и жутко от этой ужасной температуры в маленьком, беспомощном человеческом теле.

Вдруг Джиованни заметался снова...

– *Mia testa!.. Mia testa*³⁰! – завопил он, хватаясь обеими руками за голову, на которой лежал прикрепленный ремнем ледяной пузырь.

– *Ta molto caldo! Ta molto caldo!*³¹ – кричал он, иступленно бросаясь из стороны в сторону.

И опять громкий, быстрый лепет:

– *Non stò troppo bene! Angelo mio!*³²

Нюта не без труда уложила его снова на подушку, поправила съехавший на бритой головке пузырь и, обернувшись, спросила тихо соседку Джиованни.

– Неужели он все время так мучается?

– Да, сестрица. Говорят, его дело плохо. Доктор этого бедняжку особо навещает помимо обхода. Жаль мальчонку... Известно – дите. Малое еще... Умирать рано будто... А красавчик-то какой, загляденье просто... Писанный...

– А вы, больная, кто? – обратилась ласково Нюта к женщине, ставя ей термометр.

– Мы прачки... Матреша Сидорова... Работала по осени, да, видно, нутро застудила... Страсть разболелось... Спасибо докторам да сестрицам, отходили, пошли вам всем здоровья Господь, – заключила женщина и стыдливым движением руки смахнула слезу, скатившуюся у нее с ресницы.

Нюта опять ласково ей улыбнулась и продолжала обход палаты.

* * *

Было около полуночи, когда, напоив последнюю больную, Нюта готовилась уже идти в мужское отделение на помощь дежурной Клеменс. Но неожиданный шорох в углу заставил ее быстро обернуться и чуть не вскрикнуть от испуга.

Койка Джиованни была пуста. Больной мальчик в белой длинной, до пят, больничной рубашке быстрыми неровными шагами бежал, шлепая голыми пятками по полу, по направлению к двери. Его лицо было красно, как кумач. Он быстро размахивал руками, а черные глаза, наполненные безумием горячки, бессмысленно таращились из-под сведенной линии бровей.

– Джиованни! Куда ты? Остановись! – вырвалось испуганно и громко из груди Нюты, и в два прыжка она настигла его.

– Остановись, Джиованни! Куда ты! Ложись в постель, дорогой мой!

И она схватила за плечи ребенка, силясь поднять его и унести.

Но изумительно ловким поворотом тела, изогнувшись, как кошка, Джиованни вывернулся из-под руки Нюты и бросился за дверь, гулко шлепая босыми ножками по каменному полу коридора.

Нюта что было духу кинулась за ним. Было что-то жуткое в этом беге больного мальчика, охваченного безумием тифозной горячки. Его исхудалые ноги не успели, однако, потерять изумительную быстроту, или, быть может, горячка давала им эту быстроту. Запыхавшаяся, бледная от бега и страха за участь больного, Нюта мчалась за ним стрелой. Как нарочно, в длинном коридоре барака не было ни души. В приемной больницы – тоже. Крикнуть, позвать на

³⁰ Моя голова!.. Моя голова! (*итал.*)

³¹ Очень жарко! Очень жарко! (*итал.*)

³² Я болен! Мой ангел! (*итал.*)

помощь было нельзя. Криком Нюта могла бы насмерть перепугать больных. А многие из них были так слабы.

Джиованни между тем все неся вперед.

Вот он уже в конце коридора... Там белеется входная дверь, ведущая на террасу и в сад... Если дверь окажется запертой – спасение: Нюта схватит охваченного припадком безумия мальчика и унесет в барак.

– Джиованни, стой! – послала она еще раз в пространство задыхающимся от волнения и бега голосом. – Ради Бога, стой, Джиованни!

Джиованни как будто не слышал слов Нюты. Он в два прыжка перерезал остававшееся ему до двери пространство, схватился за ручку ее и изо всей силы рванул дверь к себе.

Нюта тихо ахнула и кинулась за ним... Холодная, сырая струя осеннего ночного воздуха ворвалась в коридор. Ночная мгла, чуть освещенная уличными фонарями, прокрадывалась в сад. Сбежать по каменным ступеням террасы и, что было духу, пуститься вдоль по дорожке, шурша опавшими листьями, было для Джиованни делом одной секунды. В одной длинной больничной рубашке, худой, костлявый, с горящими огнем безумия глазами, он походил на призрак.

Нюта поняла одно: если она не достигнет сейчас, не остановит мальчика, он выбежит на улицу, где неизбежная гибель ждет Джиованни. Он мог попасть под колесо экипажа, под трамвай, наконец, в реку, бурливо плещущую там, за набережной, свои мутные октябрьские воды...

И вне себя от ужаса Нюта крикнула на весь сад:

– Стой, Джиованни! Тебе говорят, стой!

Вероятно, много силы, силы смертельного отчаяния и ужаса было в этом крике обезумевшей от страха за жизнь мальчика Нюты, – крик этот долетел до ушей Джиованни, и он сразу, как вкопанный, остановился на дорожке и повернулся к своей преследовательнице лицом.

– Джиованни, миленький, дорогой! – закричала Нюта. – Вернись, Джиованни, подойди ко мне!

Большие глаза мальчика, горевшие нездоровым огнем, впились в нее.

– No!³³ – произнес он решительно и упрямо замотал бритой головкой, шелкнув зубами.

– Милый, хороший!.. Джиованни!

– No!.. No!.. No!..

И так как Нюта все приближалась к нему, он быстро наклонился к дорожке и поднял камень.

Теперь лицо его исказилось злобой. На губах проступила пена, глаза блеснули предостерегающим иступленно-злым огоньком.

– Si conserve! Guai a te!³⁴ – крикнул он и угрожающим жестом взмахнул рукой.

На минуту Нюта остановилась из чувства самосохранения. Но в следующую же секунду снова метнулась к нему.

– Ты вернешься со мной в дом, сейчас же, Джиованни! – повелительным криком сорвалось с ее уст. – Сейчас же, Джиова...

Она не договорила. Мальчик взмахнул рукой. Камень метнулся, и крик, вызванный нестерпимой болью, огласил сад...

Что-то с мучительной силой ударило в лоб Нюту. Острое, как нож, физическое страдание на миг заглушило все остальные ее чувства, голова закружилась, в глазах потемнело. Инстинктивно поднесла она руку к виску. Что-то теплое, липкое, влажное и противное текло по нему, застилая глаз и верхнюю часть лба, как бы раскалывая ее от боли...

³³ Нет! (*итал.*)

³⁴ Берегись! Горе тебе! (*итал.*)

Нюте показалось мгновенно, что темное ночное небо с золотыми точками звезд опускается ей на голову, земля колеблется под ее ногами, почва уходит под ней.

«Сейчас обморок... Я упаду... Джиованни убежит и все погибло!» – вихрем пронесется в раненой голове Нюты тревожная полусознательная мысль. Она собирает последние усилия воли и почти со сверхъестественной силой бросается к замешкавшемуся мальчику, цепко охватывает руками горячее, как огонь, тело, поднимает его и несет, прижимая к себе...

Джиованни мечется и бьется у нее на руках, как подстреленная птица, стараясь изо всех сил выскользнуть, и пронзительно, совсем по-звериному, визжит на весь сад.

Но цепкие руки Нюты сплелись клещами вокруг тонкого извивающегося стана мальчика. Исхудалый, как щепка, за болезнь, Джиованни легок, как перышко, но для Нюты тяжесть его тела сейчас не под силу. Ее ноги подкашиваются, в глазах стоят огненные круги, кровь льет, не переставая, и своей липкой жижей залепляет глаза...

«Надо донести его до барака, надо, во что бы то ни стало!» – с поразительной ясностью, резко, подобно огненному молоточку, дробно выбивает мысль в ее мозгу.

И она последними усилиями умирающей воли принуждает себя идти отяжелевшими от потери крови ногами.

«Боже мой, помоги только дойти! Только дойти!» – выстукивает ее мысль.

«Еще немного... Еще... Ну, будь же сильной, Нюта! Будь сильной!...» – мысленно подбадривает себя девушка.

К счастью, Джиованни не бьется, не трепещет больше. Он затих.

Вот и первая ступень... вторая... третья... Ох, сколько их!.. Нет конца... Лестница растет... растет с поразительной быстротой на глазах Нюты, принимая исполинские размеры... Она все выше, выше, выше крыш и трубы барака, до самого неба, до самых звезд...

«Нет, не подняться по такой лестнице ей, Нюте. Нет. Ни за что!» – усталая мысль кружится вяло в раненой голове. Ноги подкашиваются, тяжелые, точно налитые свинцом. Только руки железными тисками обвивают распластавшееся в жару маленькое тело итальянца.

– О, Господи! Скорее бы, скорее! – срывается стоном, воплем с губ Нюты. И она почти валится на каменные плиты лестницы... Тут минутное бессилие проходит сразу. Что-то светлое, яркое ударяет по лицу и четкими белыми пятнами выделяется в полумгле чуть освещенной ночи.

– Сестра Трудова! Джиованни!.. Как вы сюда попали?! Господи, да что же это! – слышит Нюта близкие и в то же время далекие голоса, и действительность перестает существовать для девушки...

* * *

Смутно, как во сне, видит Нюта белую, изумительно чистую комнату, с белыми же столами, табуретами и такого же цвета чистеньким, как игрушечка, шкафом, сверху донизу наполненным инструментами. Она лежит на чем-то высоком... Вокруг нее толпятся белые люди в халатах... Что-то шепчут, говорят...

А нестерпимая боль в голове раскалывает череп. Под влиянием этой мучительной, острой боли сами собой закрываются глаза, тяжело опускаются веки...

– Нет, нет, хлороформу не надо. Я враг хлороформа, где без него можно обойтись, – слышит Нюта, как сквозь сон, знакомый резкий голос.

Потом вдруг до слуха ее долетает мягкий и гулкий звон колоколов.

– Что это? Неужели Пасха? Пора к заутрене, а то снова будет сердиться tante Sophie! – устало пронесется в мозгу ее полусознательная мысль.

А колокола все громче, все настойчивее... Они все ближе, ближе... Звучат они как будто в ее истерзанной болью голове...

– Держите руки оперируемой... А вы голову, сестра Юматова... Так... – слышит снова Нюта тот же знакомый, несколько дребезжащий голос. Она снова с усилием поднимает веки. Над ней склонилось в странном, смешном белом колпаке желчное, суровое лицо доктора Аврельского. Подле него молодое, в пенсне на живых, быстрых глазках, лицо Семенова. Дальше бледное, сочувственно, мягко улыбающееся Нюте – Юматовой. Еще дальше другие лица сестер.

Смутно проползла в больной голове неясная догадка: «Я в операционной... Сейчас меня будут резать...»

Мысль сорвалась и пропала куда-то. Нестерпимая, колючая, жалящая боль чуть повыше виска пронизала все тело, все существо девушки.

– Ах! – не то испуганно, не то недоумевающе пролепетала она.

– Ничего, ничего! Потерпите, сестрица!.. Молодцом, молодцом!.. Пустое дело!.. Сейчас кончу... Еще шов-другой наложу – и готово, – сквозь зубы ронял доктор Аврельский и что-то делал на голове Нюты, повыше виска.

– О-о! – второе ощущение мучительной боли, сильнее первого, заставило рвануться больную.

Тело Нюты было прикреплено ремнями к операционному столу, ее голову и руки держали помощники хирурга.

– Еще одну... одну секунду!.. – повторял доктор Аврельский. – Э, да вы у меня совсем молодец, сестра!.. Терпеливая, что и говорить!.. А ну-ка еще, голубчик... соберите силенки.

Новая боль, острая до ужаса, до пота, выступившего ледяными капельками на лбу оперируемой. Потом еще, еще и еще...

Стиснув зубы, сжав пальцы, вся бледная, обливаясь потом, Нюта терпела, испуская временами короткие, глухие стоны.

Ей казалось, что пытке этой не будет конца.

– То-то вот! – неожиданно произнес Аврельский, и его суровое, старое, желчное, но теперь заметно взволнованное лицо озарилось улыбкой, какой еще не видела у него Нюта.

– Молодец, сестрица! Спасибо, помогли старику! Дали мне наложить швы без всякого усыпительного средства, без хлороформа... Через три дня прыгать будете, – произнес он, и прежде нежели Нюта успела сообразить что-либо, наклонился над ней и отечески нежно поцеловал ее в лоб.

– А теперь, сестра Юматова, наложите повязку и дайте ей... – он назвал мудреное латинское слово и вышел из операционной, еще раз с порога кивнув Нюте головой.

Глава XI

– Смотрите! Смотрите! Снег! Первый снег! Гулять, непременно гулять после приема сегодня! Леля, идет? А вы, Мариночка, как вы насчет этого? Вы, сестра Кононова – тяжелая артиллерия, не сдвинетесь, конечно, с места. А мы идем.

И Розочка в одной сорочке, босая, задрапировавшись в простыню и сделав из нее род римской тоги, кружилась волчком по комнате, прыгала по креслам и дивану и, наконец, вскочила на подоконник, легкая и проворная, как серна.

– Зима... Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь,
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь...

Она продекламировала стихи голосом, как две капли воды похожим на голос Кононовой, грубоватым, низким басом, заставив и Кононову, и Юматову, и только что проснувшуюся Нюту покатиться со смеха.

– Господа, закрывайтесь до самого носа одеялами, я форточку отворю. Нет мочи, хочется зимой дохнуть немножко, – неожиданно заключила Катя и, распахнув форточку, просунула в нее смеющуюся растрепанную головку.

– Катя! Розочка! Что это ты? В тифозное захотела, что ли?! Сейчас назад! Сейчас же, слышишь? А то целый день слова с тобой не пророню.

И волнуясь и сердито краснея, Юматова грозила подруге.

– Душенька... Лелечка... Минуточку еще... Позволь... Так... Теперь довольно... Сыта... Марширую назад... Гоп-ля! И я у ваших ног, моя царица.

И Розочка действительно умудрилась каким-то образом очутиться прямо с подоконника на коленях у постели Юматовой и, звонко смеясь своим колокольчиком-смехом, тормошила и целовала ее без счета.

Нюта взглянула в окно.

Белые, в мохнатых снежных иголках, стояли в саду деревья. Белые крыши казались чище и красивее под первым снежным покровом. Действительно, как будто сквозь двойные рамы пахло зимой, ее бодрим, свежим, укрепляющим, чистым ароматом. Зима.

Полтора месяца в общине Нюта. А кажется, точно целый год. Нет, больше – два, три года, пять, десять, пятнадцать лет... Как много изменилось за это время в ее жизни!

Община – милая, родная, горячо любимая теперь всем сердцем семья.

Давно ли еще входила сюда, в эту среду, с трепетом смущенная Нюта, встреченная отчасти холодным любопытством, отчасти недружелюбным со стороны многих сестер недоверием как «светская барышня», «белоручка». А теперь...

Ее, Нютина, трудолюбивая, кипучая в работе натура, ее терпеливая выносливость, постоянная готовность трудиться до потери сил, ее усердие и безответность не могли пройти незамеченными в этой тесной, большой, переплетенной узами одной общей святой идеи семьи. Нюту полюбили, оценив по заслугам.

Особенно помог завоевать всеобщие симпатии геройский поступок девушки, когда, раненная камнем Джиованни, истекая кровью, полуживая, она все же через силу, забыв себя, свою рану и муки, самоотверженно спасла больного, охваченного безумием иступленной горячки мальчика. Ни одна жалоба, ни один упрек не сорвались тогда с губ измученной девушки, стойко перенесшей мучительную операцию наложения швов на рану.

Сильно мучилась Нюта, а когда пришла в себя, бледная, слабенькая, худая, – первыми ее словами был вопрос о здоровье Джiovанни, едва не погубившего ее. К счастью, роковой случай закончился благополучно. Правда, после ночной прогулки Джiovанни долго находился между жизнью и смертью, но жизнь, молодая, сильная, выносливая, победила смерть. Маленький итальянец поправился. Поправилась и Нюта. Рана затянулась, швы зажили. В черной повязке теперь уже не было надобности, и только круглое белое пятнышко на лбу, величиной с медный пятак, говорило о ее геройском подвиге и о пережитых мучительных часах волнения и боли.

Рана затянулась, швы зажили, самый случай, казалось, постепенно забывался в общине, но впечатление его не могло забыться и умереть. Нюта заняла прочное место в сердцах сестер, завоевала всеобщую симпатию своим поступком.

– Ах, что за прелесть! Мед, а не воздух!

И Катя Розанова восторженно втянула в себя действительно ароматную морозную струю зимнего дня.

Они шли все трое – она, Юматова и Нюта – по тротуару, чуть запущенному первым снегом, светло и радостно улыбаясь первому зимнему дню.

В середине ноября темнеет рано, но этот день, солнечный и ясный, представлял счастливое исключение.

Веселое, улыбающееся лицо природы не могло не отразиться невольно и на лицах встречаемых. Они все улыбались и казались довольными друг другом и собой. Даже суровые лица дельцов с портфелями и те силились удержать на своих губах некоторое подобие улыбки.

– Ей-Богу, хорошо! Так хорошо, что хочется запеть на весь мир... Леля, Трудова, чувствуете... вы это, деревянные вы души, бесчувственные вы носы?! – поминутно тормозила своих спутниц резвая Катя.

Розовое личико Кати разругалось на морозе. Ее синие васильки-глаза горели как звезды, белые зубки сверкали. Белокурые волосы выбивались непокорными прядями из-под косынки, придавая совсем ребячески-задорный вид ее и без того хорошенькому детскому лицу, которое невольно обращало на себя внимание прохожих.

Какая-то старушка-богаделенка³⁵, которую Катя, проходя, нечаянно толкнула локтем, остановилась, как вкопанная, посреди тротуара и, любуясь милым, веселым разруганным личиком Розановой, прошамкала:

– Ишь ты, сестрица милосердная, красавочка какая. Ну, храни тебя Господь, дитяtko, храни тебя Господь.

И даже перекрестила вслед сестру-девочку.

– Ну, господа, кутить так кутить... – дурачилась Розочка. – Зайдем к Филиппову, купим пирожных, это раз... Потом у Соловьева – сардинок... Лелю Юматову и сардинки люблю больше всего в мире... Потом купим и пустим воздушный шар...

Соберется толпа, будут, разинув рты, стоять и делать свои замечания... Страшно весело.

– Катя, опомнись! Сестра ты или нет?

– Сестра, кажется. А впрочем, сегодня я не знаю, что я такое... Мальчишка я, головорез я, и страшно мне хочется шалить и... Смотрите, смотрите: Семочка идет... Так и есть – он...

Неожиданно из-за угла вынырнула знакомая фигура в шинели и показалось молодое лицо доктора Семенова. Он шурился от солнца под очками и улыбался светлomu дню.

Вдруг – бац! Как это случилось, не могли себе потом уяснить ни Юматова, ни Нюта. Розочка нагнулась над какой-то тумбой, живо собрала в руку весь пышно покрывавший ее белой шапкой снег и, наскоро слепив из него белый пушистый комок, залепила им в лицо ничего не подозревавшего врача. В следующую же минуту шалунья была далеко, и не заметивший ее огорошенный Семенов, сняв пенсне, усиленно протирал его и залепленные снегом

³⁵ Богаделенка (богаделка) – призываемая в богадельне старушка.

глаза носовым платком, близоруко щурясь по сторонам и всячески стараясь допытаться, откуда обрушилась на него столь непредвиденная напасть.

К счастью, прохожих поблизости не было, и никто, кроме Нюты и Юматовой, не оказался свидетелем происшедшей сцены. На этот раз обычно сдержанная Юматова рассердилась:

– Это невозможно, Катя! Ты, действительно, мальчишка, настоящий мальчишка, а не сестра милосердия! Как тебе не стыдно! Что если бы Семенов увидел нас? Сгореть со стыда можно!

– Леля, Лелечка, райское солнышко мое, брильянтовая, не злись, не порти своих печенок! Ей-Богу, не стоит! А если ты будешь продолжать свои нотации, клянусь пятипроцентным раствором сулемы, я при всей улице прыгну тебе на шею и буду тебя целовать до тех пор, пока ты не замолчишь. Ну, берегись же, даю тебе три секунды на размышление. Раз, два, три, начинаю. Раз...

– Сумасшедшая ты, и больше ничего! – не будучи в силах долго сердиться на свою резвую подругу, улыбнулась Юматова.

– Ну, так, стало быть, мир? – засмеялась Катя и, сделав совершенно серьезное лицо и придав ему выражение лица Марьи Викторовны, прошептала ее голосом, пришепетывая и любезно-приторно улыбаясь ехидной улыбкой:

– Сестры, будьте же тише, скромнее, помните ваше великое назначение... и потом... Вот Невский проспект.

Нюта не могла сдерживаться больше и весело рассмеялась. Улыбнулась и серьезная, грустная Юматова. Выходка Розочки не могла не рассмешить.

– Господа сестрички, до жалованья недалеко, перед деньгами денег нет... Да и какие же деньги пять рублей в месяц, посудите сами... А те, что прислал папа, я давно порастрясла... Ну-ка, Леля, и у вас, Мариночка, как насчет финансов? – неожиданным вопросом закончила Катя свою речь.

Нюта вспыхнула.

Она жила на те свои три рубля в месяц, которые получала от общины в качестве «испытваемой». Вспомогательных же сумм ей неоткуда было получать. Но сдержанная, приученная матерью с детства, она умела обходиться этой крошечной суммой и умудрялась еще делиться ею с приходящей в амбулаторию беднотой. Сейчас у нее оставался один полтинник, на который она мечтала купить что-нибудь выздоравливающему Джиованни, к которому горячо привязалась со времени роковой ночи.

– А что? – обратилась она к Розочке, смущенно вспыхнув от подбородка до корней своих светлых волос.

– Ничего... я хотела предложить купить в складчину форму мороженого или пломбира.

– И думать не смей! – вспыхнула Юматова.

– Зимой мороженое? Ах, Катя, Катя! Когда ты станешь умнее!

– А мне, представь себе, кажется, что я уж и так чересчур умна, – с комическим вздохом шепнула шалунья.

– Ах! – вскрикнула вдруг испуганно Нюта.

– Сестра Трудова, что с вами? – спросила Юматова, инстинктивным движением подхватив ее под руку.

Румянец сперва густой волной залил ее лицо, потом отхлынул, и Нюта стала белее снега, покрывавшего в этот день крыши и мостовую.

– Вам дурно, Марина?

Два милых, встревоженных лица обращаются одновременно к Нюте.

– Что с вами? Отчего вы дрожите?

Нюта закусывает губы, смотрит, как загнипнотизированная, широко раскрытыми глазами вперед, и из них, из этих глаз, глядит ужас.

Прямо на нее и на ее спутниц-сестер подвигается группа нарядно одетых и беззаботно разговаривающих лиц.

В щегольском, нарядном каракулевом жакете и в такой же шляпе с белыми страусовыми перьями, с заученной любезной, как бы застывшей улыбкой на желтоватом усталом японского типа лице идет Женни Махрушина, дочь tante Sophie, кузина ее, Нюты. Подле нее молоденький офицер-кавалеристик, ее двоюродный брат Коко. С другой стороны – главная компаньонка и самая значительная из приживалок в доме, Саломея Игнатьевна, чопорное, льстивое, злое и ничтожное существо, глубоко презирающее весь мир и сплетничающее выше меры. На цепочке, конец которой окручен вокруг кисти руки Саломеи, чинно плетется огромный ньюфаундленд, лениво переступая мохнатыми лапами по снегу.

Маленькая группа медленно приближается к сестрам. Душа замирает в теле Нюты. Сердце стучит так, как только умеет стучать сердце в минуты заходившего его ужаса, смертельного волнения. Холодные капли пота выступают на лбу.

Не слыша ничего из того, что говорят ей Юматова и Катя, она мысленно твердит, сильно волнуясь, одно и то же, одно и то же: «Только бы не заметили, только бы прошли мимо!»

А Женни, Коко и Саломея с Турбаем все ближе и ближе. Сердце Нюты уже не бьется, не стучит, оно просто прыгает бурно и шумно сверху вниз. Или это только кажется взволнованной девушке? Она ничего не чувствует, кроме охватившего ее волнения, ничего не слышит.

Теперь группа Женни так близко, что слышно позвякивание Кокиных шпор и «нарочный», делано-ребяческий смех Женни.

Слышно, как Коко рассказывает ей о последнем вечере у какой-то графини.

– Вы понимаете ли... там были фонтаны из шампанского, ma cousine, а желоб фонтана был выложен персиками и ананасами... И эта толстая, неуклюжая Мими Ростопчина, imaginez vous, села мимо кресла... Figurez vous, – прямо на пол. Parole d'honneur!³⁶ И подняться не может... Мы умерли со смеху, ха-ха-ха, я первый. Ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха! – в тон Коко залилась своим неестественным смехом Женни, которая очень любила казаться моложе своих двадцати четырех лет и, наивничая, ломалась не в меру.

– Хи-хи, мимо кресла, говорите вы? – угодливо поддакнула, хихикая, Саломея, но, обратив внимание на сестер милосердия, остановилась как вкопанная посреди тротуара, с широко раскрытым ртом и выпученными глазами.

– Батюшки мои! Да ведь это Нюточка наша! Помилуй Бог! Нюточка и есть! В милосердной сестрицы costume! Она! Она!

Женни быстро поднесла черепаховый лорнет к своим маленьким близоруким глазкам и навела его на Нюту.

– Annette! Вот ты где! Наконец-то мы нашли тебя, злая беглянка!

– Кузина, что означает этот маскарад? – с почти выкатившимися от удивления из орбит глазами, смешно растопырив ноги в лакированных сапогах, проговорил Коко, оглядывая Нюту, как диковинную зверюшку.

Последняя, казалось, была ни жива ни мертва.

– Скорее! Скорее, на извозчика!.. Увезите меня от них!.. Увезите!.. – шептала она, цепко, как за последний якорь спасения, хватаясь за руку Юматовой.

Юматова мигом сообразила, в чем дело.

– Розочка, ты поедешь с сестрой Мариной. Садись на первого попавшегося извозчика. Я за вами, – коротко проронила она и рванулась к стоявшим поблизости саням, увлекая за собой Нюту.

Катя Розанова поспешила за ними. Но в эту минуту произошло нечто совсем непредвиденное ни для спутников Женни, ни еще того менее для Нютиных спутниц. В то самое

³⁶ ...кузина... вообразите себе... Представьте себе ...Слово чести! (франц.)

мгновение, когда две взволнованные молодые особы в скромных одеждах сестер милосердия, с белыми фланелевыми косынками на головах увлекали, стараясь заслонить собой, третью, огромный черный ньюфаундленд, предварительно тщательно обнюхав тротуар, вдруг поднял голову, взглянул своими большими умными глазами на Нюту и с оглушительным лаем рванулся к ней, увлекая за собой испуганно вскрикнувшую Саломею. В одну секунду он был подле нее. Его мохнатые лапы легли на плечи бледной, трепещущей девушки, и шершавый горячий язык вмиг облизал ей глаза, щеки, лоб и губы.

– Турбаинька! Милый!

Теперь уже совершенно позабыв об опасности быть насильно водворенной снова в дом тетки, Нюта обнимала своего четвероногого друга, нежно целуя его мохнатую голову, бело-черные уши, шею.

– Турбаинька, узнал-таки! Узнал! О, милый! Верный! Милый! – шептала она, лаская тихо и радостно повизгивающую собаку, и вдруг, спохватившись, закусила губу:

– Едем! Едем! – шепнула она удивленно смотревшим на всю эту сцену сестрам и первая вскочила в извозчичьи сани. – Вези прямо! – крикнула Нюта извозчику и тут же чуть слышно проронила Розановой, севшей рядом, и сестре Юматовой, запахивавшей полость:

– Ради Бога, чтобы они не узнали, к какой общине мы принадлежим!

– Успокойтесь, милая... Вы среди друзей... Не волнуйтесь, – отвечали ей безмолвно грустные, честные глаза Елены.

Извозчик тронул вожжами. Сани понеслись. Юматова быстро взяла другого возницу и помчалась за ними.

Было как раз вовремя. На панели, вокруг бешено лающего и рвущегося из рук Саломеи Турбая, собиралась толпа.

Коко, красный от волнения, силился объяснить остановившимся вокруг них людям, то и дело переплетая французские и русские слова:

– Моя кузина, Annette... Сестра милосердия... Soeur de charité!.. Ее похитили, должно быть!.. Ее украли!.. Comprenez vous, украли!.. Надо поймать, вернуть... Sacristi!³⁷ Непременно... найти... вернуть... так нельзя!.. Среди бела дня украли!

– Слышь, Ванюха, у его высокородия штой-то украли, не то бумажник, не то папиросницу. Ей-Богу! Разрази меня гром! – обратился подвыпивший мастеровой к поддерживавшему его под руку приятелю.

– Бумажник украли, слышите, бумажник! – пронеслось в толпе.

– А много ли денег там было, батюшка-офицер? – вынырнула, как из-под земли, перед лицом Коко какая-то старушонка в салопе.

– Оставьте, Коко. Они все глупы и не поймут нас, – произнесла, пожимая плечами, Женни, хмуря свои тонкие брови.

– Пять сотен украли... – между тем слышались в толпе новые слухи.

– Пять сотен!.. Нет, подымай выше, брат, целая тыща!

– Городового надо... Протокол составить... – горячился какой-то господин в шубе. – Такая дерзость! Среди бела дня!

Испуганный городовой неся со своего поста сломя голову, подавая тревожные свистки по дороге.

– Где пострадавший? Вы пострадавший? У кого украли? – тревожно допытывался он, шмыгая в толпе.

Женни, Коко и Саломея с рвущимся у нее из рук Турбаем спешно уходили с места происшествия, под ничем не удержимый, отчаянно-громкий собачий лай и громкий говор собравшейся толпы.

³⁷ Сестра милосердия... Вы понимаете... Черт возьми! (франц.)

* * *

– Нет. Я всегда говорила, что вы чересчур много баловали эту скверную, неблагодарную девчонку, уважаемая Софья Даниловна. Ведь вы не делали никакой разницы между ней и вашим прелестным, невинным ангелом, *votre ange*³⁸ Женни.

И графиня Трюмина величественно потрясла своей увенчанной короной завитого шиньона головой.

– Неблагодарная, бессердечная девчонка! Вам остается забыть ее, вычеркнуть эту девчонку из вашего сердца, *et c'est tout!*³⁹

– И все, – подхватила другая собеседница генеральши Махрушиной, худенькая, подвижная баронесса Бронд.

– Ах, ужасно, ужасно, – вздыхала Софья Даниловна, толстенькая, шарообразная пожилая барыня с испуганно-удивленным, встревоженным лицом. – Ужасно! Ужасно! Нет, какова дерзость этого ребенка! Уйти чуть ли не ночью из дому, оставив записку, что уезжает в С-скую губернию к бабушке, в усадьбу, а затем проходят два месяца, и малютка Женни с Коко и добрейшей Саломеей встречают ее на улице в одежде... в одежде...

– Сестры милосердия, *ma tante!* – поспешил вернуть свое слово вертевшийся тут же и звеневший шпорами Коко.

– Вот именно. В одежде сестры милосердия... Ну, скажите мне, ну, *dites moi, je vous prie*⁴⁰, для того ли я воспитывала девочку, для того ли платила за нее в институте последние годы, учила ее музыке, танцам и изящным искусствам, чтобы по выходе из учебного заведения она пошла... она пошла... лечить, бинтовать, мазать всякими мазями разных больных нищих мужиков и их грязных детей! Это ужасно, ужасно! Она заразится от них и умрет! Умрет непременно!

– Нет ничего ужасного, *ma tante*, – снова вернул свое слово Коко, – нет ничего ужасного, пока еще не поздно. Вы должны постараться во что бы то ни стало вернуть Нюту... Вы имеете право сделать это... Ведь она несовершеннолетняя и обязана повиноваться вам. Через полицию вернут, если хотите...

– О, нет, нет! Только не так! Это позор... позор!..

– В таком случае разрешите мне найти средство отыскать ее... Ведь Петербург не лесная чаща, и если перебрать несколько общин, то, пожалуй, сестрицу Вербину нетрудно найти в одной из них...

– Нет! Нет! – замахала руками на племянника генеральша. – Упаси Боже!.. Полиция!.. Обыски!.. Скандалы!.. Ни за что!..

– Ну, в таком случае, *ma tante*, я придумаю другой способ найти и водворить снова в наш дом беглянку... *Parole d'honneur!*..⁴¹ Клянусь...

Коко задумался на минуту, наморщил лоб и придал выражение сосредоточенности своему достаточно глупому лицу.

– *Sacristi!*⁴², нашел! Все это очень сложно, но я все же нашел способ вернуть *Annette*. Придумал! – вскричал он, звонко шлепнув себя ладонью по лбу.

³⁸ Вашим ангелом (*франц.*).

³⁹ И все (*франц.*).

⁴⁰ Скажите мне, пожалуйста (*франц.*).

⁴¹ Слово чести! (*франц.*)

⁴² Черт возьми (*франц.*).

– Что же вы придумали, *cher monsieur*⁴³ Коко! – обратились в одно и то же время к юноше графиня Трюмина и баронесса Бронд.

– Oh, je vous demande pardon, mesdames!⁴⁴ До поры до времени это моя маленькая тайна... – изгибаясь всем телом, как вертящаяся кукла на пружинке, и поминутно шелкая шпорами, говорил с таинственным видом Коко.

– Коко! Коко! Идите к нам! У нас превесело! – окликнул молодого человека звонкий голосок Женни.

Последняя сидела за небольшим столиком в японской гостиной.

Эта японская гостиная была своего рода музеем в доме генеральши. Здесь находились и ширмы, по черному атласу расписанные золотыми лотосами и аистами, привезенные из Йокогамы, и прелестная миниатюрная мебель, низкая, маленькая, всего на четверть аршина⁴⁵ от пола, подушки-пуфы и диваны, выписанные из фабричного центра Страны восходящего солнца. Бесконечные веера украшали стены. Фарфоровые японские вазы, столики и мелкие игрушечные столы наполняли комнату, всю утопавшую в коврах и циновках.

Женни сидела теперь в этой гостиной среди молодежи, разливая чай в крошечные чашечки японского же сервиза, расставленные перед ней на серебряном подносе. Она была похожа на жрицу древнего буддийского храма, со своей прической в китайском вкусе, в платье из легкого восточного фуляра⁴⁶, выписанного из Токио вместе с сервизом и другими вещами, и как бы представляла собой добавление к этой нарядной и оригинальной гостиной.

Вокруг нее сидели ее подруги – такие же светские барышни, как она; молодежь, офицеры, лицеисты, пажи и элегантные молодые штатские, выделявшиеся черными пятнами сюртуков и смокингов среди блестящих форменных мундиров. Болтали по-французски, или, вернее, на том русско-французском диалекте, который всегда преобладал в гостиной генеральши Махрушиной.

Женни рассказывала что-то. Гости с веселым вниманием слушали ее.

– Она всегда была какая-то неземная, не от мира сего... *Figurez vous*, расспрашивала всяких нищих на улице, останавливала разных попрошаек. Разумеется, это очень мило – благодетельствовать... *La philanthropie, c'est très chic, ça*⁴⁷! Но к чему же входить в разговоры с первой встречной попрошайкой? Ну, дай ей несколько копеек, ну, вели накормить прислуге. Но при чем тут разговоры? Это непозволительно!

– Конечно! Конечно! – соглашались гости.

– И потом убежать из дому, тихонько.

И Женни пожимала плечиками и морщила свой вздернутый носик.

– Бедная tante чуть не заболела с горя... И вдруг... сестра милосердия!.. Ах, эта Нюта, – точно какая-нибудь горничная или мещанка!

– Это вы о Нюте? – вмешался подошедший Коко. – Не беспокойтесь. Она вернется... Не дальше как через месяц беглянка будет водворена.

– Как? Что? Вернется Нюта? Анна Александровна? Месье Коко, что вы говорите?

– Клянусь честью! *Parole d'honneur!* И не будь я Коко, если я вам этого не устрою! – округлив глаза и вращая ими во все стороны, с уверенностью подтвердил Коко, поглядывая на всех присутствующих самодовольным взглядом.

– О, пусть только вернется! – произнесла Женни, и ее обычно ангельски-кроткое выражение, которым она постоянно старалась скрасить свое оригинальное желтоватое личико, пере-

⁴³ Дорогой месье (*франц.*).

⁴⁴ О, милостивые государыни, я прошу прощения! (*франц.*)

⁴⁵ Аршин – русская мера длины, равная 0,711 м.

⁴⁶ Фуляр – легкая и мягкая шелковая или полотняного переплетения ткань.

⁴⁷ Представьте себе... Благотворительность – это очень изящно! (*франц.*)

дернулось угрожающей усмешкой. – Пусть вернется только, и я попрошу папаша запереть ее, как провинившуюся девочку, чтобы в другой раз ей не пришла в голову эта глупая сумасбродная блажь.

Глава XII

Было около девяти часов утра, когда Нюта, спеша на дежурство к своим тифозным, летела, как на крыльях, по длинному коридору из столовой.

Сестры только что отпили чай и расходились каждая по своим постам, как всегда при наступлении часа смены и распределения дежурств.

Неожиданно за плечами Нюты раздался знакомый голос.

– Сестра Трудова, на два слова.

Нюта остановилась и, живо обернувшись, увидела спешившую за ней Юматову.

– Что скажете, сестра?

– О, многое, Мариночка... Но вы не беспокойтесь, ничего страшного... Присядьте со мной здесь, на подоконник, – и сестра Юматова почти насильно усадила Нюту в глубокую нишу окна, выходящего в сад.

Нюта бросила в окно машинальный взгляд. Там, за двойными рамами, теперь уже стойко и непоколебимо установилось белое царство зимы. Декабрь дышал за стеной своим студеным мертвым дыханием. Запущенные иглами инея и скованные его морозной лаской, стояли высокие дубы и липы. Серо-белое зимнее небо высилось над землей. Снежило, и рой белых пушистых мошек сыпался с неба, устлая свежим налетом и без того высоко наметенные горки сугробов в саду.

Нюта перевела свой взгляд на Юматову... Глаза их встретились. И столько сочувствия и ласки прочла Вербина в этих печальных, всегда грустных добрых глазах, что сердце ее забилося невольно, а ее собственный взор подернулся слезами.

Длинная, тонкая рука Елены легла на плечо Нюты.

– Марина... Милая... родная... – заговорила она глубоким, задушевым тоном. – Вы меня простите, что я незваной гостьей врываюсь в ваш внутренний мир... Не из любопытства, конечно... Поймите меня, Мариночка, душа моя... Вы стали мне и Розановой дороги с первой же нашей встречи, как сестра родная... И точно родную полюбили мы вас... И вот, ни я, ни Катя Розанова не можем смотреть спокойно, как вы худеете и бледнеете, как не спите ночей и таеете с каждым днем. И все с этой роковой встречи на Невском... Я не хочу врывать в вашу душу, Марина, не хочу слышать никаких признаний... Я привыкла уважать чужие тайны. Но... но я хочу... и Розочка тоже... хотим обе знать: нельзя ли чем-нибудь помочь вам, милая Марина? – и горячие руки Юматовой сжали дрогнувшие пальчики Нюты.

– Милая, – зазвучал снова над склонившейся Нютиной головкой голос Елены. – Милая, я много старше вас. Я мать, потерявшая детей, я пережила безумное горе, я испытала в жизни столько ужаса, Марина... И как дочери, как моей покойной Ниночке, сказала бы, скажу и вам: «Обопритесь на мою руку, детка, она сильная, закаленная рука, она поддержит вас». Потребуйте от меня помощи, совета, Марина, моих сил, преданности и огромной, самой огромной услуги, жертвы. Я все охотно сделаю для вас, и Розочка тоже. Клянусь вам любовью к покойным детям! – заключила сестра Юматова хватаящим за душу голосом, исполненным ласки, участия и любви.

От этого мягкого, захватывающего голоса, от этого неизъяснимого выражения сочувствия ниже опустилась белокурая головка Нюты, ярче запылал румянец волнения, вспыхнувший на ее лице.

«Боже мой! Боже мой! – металась в этой склоненной голове тревожная мысль. – Она права, эта милая, самоотверженная, прекрасная Елена. Она, Нюта, мучается каждый день, каждый час с этой роковой для нее встречи на Невском две недели тому назад. Один только Бог знает всю силу этих мучений... Тяжелое предчувствие терзает Нюту день и ночь, лишая ее покоя и сна... Конечно, Женни с Коко не оставят этого случая без последствий. Они скажут

tante Sophie, та поднимет весь город на ноги, чтобы сыскать и вернуть ее, Ньюту. Может быть, ее уже ищут и благодаря только чужому имени и паспорту еще не нашли... О, ей так тяжело бывает минутами, так невыносимо тяжело порой! Хочется неудержимо упасть на грудь этой милой, благородной Юматовой или доброй, чуткой Розочке и вылить душу, рассказать все... Но кто поручится ей, Ньюте, что они, обе честные, благородные, прекрасные, поймут ее, не оттолкнут от себя, узнав ее историю с подмененным документом?!. Как отнесутся они к ней после всего этого? Нет! Нет! Лучше во сто крат переживать тысячу мучений ежечасно ей, Ньюте, нежели потерять доверие и любовь этих единственных близких ей существ. Нет! Нет! Ни за что на свете!»

И сделав над собой усилие, она подняла на Елену пылающее лицо.

– Спасибо вам. Благодарю вас, сестра Юматова, от всей души... благодарю... за сочувствие и ласку... Но... но у меня нет никакого горя... Уверяю вас. И ничто не гнетет меня тоже... право... ничто... Спасибо... спасибо вам и Кате... – и, окончательно смутившись, она опустила вниз сконфуженное лицо.

– Ну, Бог с вами, Мариночка. Нет так нет. На нет и суда нет, – пошутила с улыбкой Юматова. Но как мало шла веселая улыбка к этим печальным, тоскующим глазам! – Во всяком случае, всегда рассчитывайте на мою и Катину помощь. А теперь... Вы не забыли, какой сегодня вечер у нас? А?

– Нет.

– Смотрите же. Сменитесь в 9 часов и приходите. А то Розочка обидится. Ведь гостей наберется куча – и доктора, и наши... Настоящий бал... На славу отпразднует день своего рождения наша детка. Придете?

– Приду, конечно...

– То-то же... А теперь Христос с вами... Дай Бог спокойствия вашей душе...

И прежде чем Ньюта успела опомниться, сестра Юматова осенила широким крестом ее тоненькую миниатюрную фигурку.

– Господь с вами. Ниночку мою я бы точно так же... – тихо, чуть слышно проронила она и, смахнув слезу с темной ресницы, спешно отошла от Ньюты, прежде чем девушка успела поблагодарить ее.

* * *

– Джиованни, милый, что с тобой? Кто тебя обидел? О чем ты, мальчик мой?

Ньюта стоит подле узкой больничной койки, силясь оторвать от подушки глубоко зарывшуюся в нее черную головенку.

За два месяца пребывания в больнице волосы Джиованни выросли и закурчавились снова.

Худенький, вытянувшийся ростом, он кажется не по летам большим. Серый больничный халат висит, как на вешалке, на исхудалом теле.

Мальчик так плотно прильнул к постели, что нет сил оторвать его. По вздрагивающим плечам и по тихим, чуть слышным булькающим звукам Ньюта поняла, что он плачет.

– Джиованни, милый, кто тебя обидел? Скажи! – Ньюта садится на край постели и гладит костлявую, с выдающимися от худобы лопатками спину маленького итальянца.

– О, Cielo! Povero mio sono perduto!⁴⁸ – глухо вырвалось из глубины подушки.

Ньюта встревоженно посмотрела на взволнованного мальчика:

– Почему ты пропал, Джиованни? Что случилось с тобой? – спросила она.

⁴⁸ О, Небо, я пропал, несчастный! (*итал.*)

Она ежедневно в этот последний месяц приходила к выздоравливающему мальчику, подолгу беседовала с ним, учила его говорить по-русски и сама приучалась понимать его красивый, как песня юга, певучий язык. Она привязывалась к ребенку незаметно и прочно и посвящала маленькому итальянцу все свои досуги.

Нюта была потрясена необычайным состоянием всегда веселого, резвого мальчика. Надо было узнать причину его слез во что бы то ни стало.

Но мальчик упорно молчал.

Чтобы заставить его поведать ей всю правду, Нюта решила на маленькую хитрость.

– Ты упрямисься, Джиованни, ты не любишь меня... А раз ты не любишь свою сестру, я уйду от тебя. Прощай...

Этого было достаточно, чтобы Джиованни вскочил, как ужаленный, и сразу сел на постели. Его залитое слезами лицо, несмотря на выразившиеся в нем тоску и горе, несмотря на страшную болезненную худобу, было прелестно. Два огромных, сияющих сквозь слезы глаза смотрели с явным обожанием на Нюту. Они были как два солнца, прорвавшиеся сквозь дождь, эти очаровательные знойные глаза.

– Dio mio! – залепетал мальчик, хватая руки девушки и прижимая их к своим мокрым от слез щекам. – Dio mio! Джиованни несчастлив... О, Dio, как несчастлив Джиованни. Gioja mia. Vene mia... Sorella Марина, carissima... Плачет Джиованни, видишь, плачет. Почему? Был доктор вчера перед ночью и сказал Джиованни: «Прощай... Три дня еще, и прощай... Бери шарманку и ступай... Mi si spezza il cuore. Куда я пойду?.. Куда, mia sorella?.. Домой нет пути... Нету монеты... денег... А кушать надо... Как жить, mia sorella?»⁴⁹ Что будет теперь?

И опять потоки слез оросили смугло-бледное личико ребенка.

Нюта глубоко задумалась, машинально водя рукой по курчавой головке.

Действительно, Джиованни прав. Настало время выписать его из больницы. Но куда пойдут он, бедный, нищий, сирота-ребенок? В негостеприимной для него чужой, холодной стране он заболит, снова простудится в своих жалких лохмотьях, умрет. Бедный маленький милый Джиованни!

Остро вонзилось в сердце Нюты колючее жало мучительного сожаления. Хотелось обнять Джиованни и заплакать вместе с ним. Но одним сочувствием и слезами помочь невозможно. Надо обдумать хорошенько дело и начать действовать в пользу Джиованни, действовать смело и горячо.

– Слушай, дружок, amico mio⁵⁰, – после долгого молчания произнесла Нюта, кладя руку на плечи ребенка, – даю тебе слово, я все сделаю, что могу, для тебя... Ты не будешь несчастным нищим, как прежде, слышишь, Джиованни.

Два черных глаза с тоской и надеждой впились в нее.

– Per l'amor di Dio!⁵¹ – прошептал мальчик, молитвенно складывая руки на груди.

– Да, да, не бойся, мальчик мой. Я сделаю все, – прошептала Нюта. – Успокойся только... А теперь мне надо обойти больных. Я вернусь к тебе после обеда, и ты расскажешь мне про твою прекрасную родину, про теплое синее море и пестрые цветы. А пока... вот тебе на память от меня.

И Нюта вынула из кармана дешевую маленькую статуэтку, изображавшую мальчика с шарманкой, которую она купила для Джиованни накануне на свои скромные гроши, и поставила ее перед ним на столике у кровати.

Глаза мальчика вспыхнули восторгом. По лицу разлилась блаженная улыбка.

⁴⁹ Бог мой... Бог мой... Бог... Сокровище мое... Добрая моя... Сестра... дорогая... У меня сердце кровью обливается... моя сестра... моя сестра... (итал.)

⁵⁰ Мой друг (итал.).

⁵¹ Во имя любви к Богу! (итал.)

Он весело рассмеялся и захлопал в ладоши.

– Это Джiovанни... сам Джiovанни. *Sorella mia*, гляди. О, *grazzia, grazzia, bene mia!*⁵²

Джiovанни рад, так рад!

И глаза его сияли, как солнце.

Обходя больных, давая им лекарство, измеряя температуру, Нюта ломала голову, как бы помочь делу. Судьба маленького итальянца не выходила у нее из головы. Она знала историю Джiovанни. Он приехал сюда из Венеции со своим дедом, «поппо», как называл его Джiovанни, из далекой южной страны, чтобы не умереть от голода.

Дед заболел и скончался от воспаления легких. Джiovанни, странствуя со своей шарманкой, заболел тоже, и если не погиб, то только благодаря Нюте, которая тщательно скрывала от мальчика все происшедшее с ним той осенней роковой ночью, наказав и всем дежурившим сестрам молчать об этом происшествии. Теперь надо было спасти его во что бы то ни стало от повторения болезни. И вот в мозгу Нюты зародилась новая мысль.

Она росла, эта мысль, и развивалась с каждой минутой, быстро, быстро и ярко. И чем дальше свыкалась с ней девушка, тем возможнее и проще казалась ей эта мысль.

Сменившись вечером с дневного дежурства, приняв душ и переодевшись в другое платье в чистой и теплой ванной комнате, Нюта, прежде нежели идти на «званный» Розочкин вечер, забежала в швейцарскую.

– Антип! – вызвала она старого, почтенного швейцара, пившего чай в своей каморке.

– Что угодно, сестрица Трудова? Что изволите приказать?

– Скажите, Антип, вы бы ничего не имели против того, чтобы взять жильца в вашу комнату? За плату, конечно. Ведь вы имеете право взять к себе жить внука или племянника, приехавшего из деревни?

– Понятное дело, сестрица, имею, что и говорить...

– Ну, вот! Ну, вот! – обрадовалась Нюта. – Так слушайте, Антип: тут выздоравливающий есть один... мальчик... шарманщик... Так вот... вы его приютите у себя... Дайте ему уголок в своей комнате. А я вам за это три рубля в месяц платить буду. Только вы никому не говорите, Антип. А обед... Обед он будет получать от меня. Я все равно второго блюда не ем никогда и хлеба тоже. Да и завтрак мой почти всегда остается... Во всяком случае, пока что я буду все это присылать...

Антип взглянул на Нюту зоркими старческими глазами и молчал. Он точно разглядывал впервые это худенькое, возбужденное, пылающее личико, эти серые, как бы ищущие ответа глаза.

Что-то дрогнуло в лице старика, промелькнуло не то улыбкой, не то усмешкой под его сивыми усами и утонуло в глубине старческих глаз.

– Вот что, сестрица, голубушка, – заговорил он, – итальянца вашего я возьму, потому ему деться некуда, не пропадать же душе христианской, коли на выписку его назначили... Да и деньги возьму ваши, потому мало их у меня, а ртов дома, в деревне, много. Три целковых буду брать с вас. А насчет харчей, то есть обеда и прочего, не сомневайтесь, сестрица: где мне, старому, съесть все то, что с кухни мне приносят! Будет сыт ваш мальчишка, по самое горло сыт... Не бойтесь уж за него...

– Спасибо вам, Антип, спасибо!

И Нюта, схватив руку старика, крепко пожала его заскорузлые в работе пальцы.

– Что вы, что вы, голубушка-сестрица! – смутился старый швейцар.

Но Нюта была уже далеко. На второй площадке лестницы она перегнулась через перила и шепнула еще раз:

– Только об этом ни слова, что я просила приютить мальчика! Пожалуйста, Антип.

⁵² Сестра моя... Спасибо, спасибо, хорошая моя! (*итал.*)

– Будьте покойны, родная.

И, покачивая седой головой, Антип поплелся в свою комнатку.

Глава XIII

– Наконец-то! Что ж так поздно? А мы тут все угощение съели без вас.

– Опоздали, опоздали, сестрица.

– Сестра Трудова, входите, входите без церемоний. Давно вас ждем! – градом веселых восклицаний посыпалось на Нюту, лишь только она переступила порог своей комнаты.

Теперь эту комнату, впрочем, трудно было узнать. Кровати были превращены в диваны, покрытые всевозможными тряпками, какие только нашлись в общежитии. Подушки, задернутые в цветные же чехлы, представляли из себя валики с диванов. Письменные столики, сдвинутые вместе, стояли посередине комнаты и буквально ломились под тяжестью яств. Тут были и тарелки с сэндвичами, и фрукты, и сласти. Орехи в сахаре, и в шелухе, пастила, изюм, финики, мармелад, всевозможная карамель всех сортов, кондитерские конфеты, торты, печенье и, наконец, объемистая кастрюля с шоколадом заставили собой столы. На самодельных диванах сидели сестры, хозяйки «десятого номера», и чужие, приглашенные на Розочкино рождение. На оттоманке и в креслах – почетные гости – доктора.

Сквозь клубы табачного дыма, наполнявшего комнату, Нюта успела разглядеть добродушно улыбавшееся лицо Козлова, обычно желчное и теперь ничуть не изменившее своего выражения лицо Аврельского, пенсне и черные усики Семочки, очень любезные, до приторности растянутые улыбкой черты «Фик-Фока» – немца Фока, глазного доктора, говорившего всегда сестрам «мейн фрейлейн», и огромную широкоплечую фигуру и вихрастую голову Ярменко, добродушнейшего в мире хохла, прозванного сестрами за размашистые манеры и нескладный вид – «семинаристом», а за чудесный, настоящий оперный голос – «соловьем».

Кононова, Розочка и Юматова носились в клубах дыма, разнося угощение и шоколад. На подоконнике сидела сестра Двоепольская, настраивая гитару.

Где-то в углу звучал резкий голос Клементьевой, спорившей с Аврельским. Климова, молоденькая, лишь прошлой весной посвященная сестра, упрашивала «семинариста» спеть под гитару «Віют витры».

Козлов смешил четырех сгруппировавшихся вокруг него сестер, рассказывая анекдоты. Старшие сестры чинно сидели в уголку и угощались шоколадом.

Лицо «новорожденной» рдело, как розан. Нюте показалось, что никогда еще хорошенькая Катя не была так мила. Она приколола к груди бутоньерку живых цветов, подаренную ей Юматовой, и не переставала сиять своими милыми ямочками и лукаво-веселыми, искрящимися жизнью и задором васильковыми глазами.

– Сюда, сюда, пожалуйста, к нам, сестрица! Места всем хватит... У нас веселее!.. Первый сорт! – услышала Нюта веселый, рокошующий голос Валентина Петровича.

Потом кто-то подхватил ее под руку – Кононова или Катя, она не разглядела, – и усадил в кресло против Козлова; кто-то сунул в руки чашку с простывшим уже шоколадом и такую огромную порцию торта, что Нюта искренне испугалась при виде ее.

Вокруг нее кипело и било ключом веселье. Казалось, большая, дружная семья собралась сюда отпраздновать на славу праздник своей любимицы. Смеялись, болтали без умолку, шутили и хохотали до слез.

– Не хотите ли фруктов, Дмитрий Иванович? – предложила обыкновенно серьезная Юматова, с разгоревшимся, розовым от хлопот лицом подходя к «семинаристу».

– Нет! Нет! Ни за что нельзя этого! Помилуй меня, Боже.

– Почему нельзя? – высокие, словно кисточкой туши выведенные брови Елены еще выше поднялись на лбу.

– Ах ты, Боже мой, – невозмутимо, без улыбки, отвечал Ярменко, – да разве ж вы не знаете, каков я? Апельсин возьму – вазу разобью. За пальто полезу – вешалку сломаю. Чай

примусь пить – стакан расколочу... Такая уж у меня доля, как моя покойница нянька-хохлушка говорила. Только умею петь да лечить. Ей-Богу!

Сестры смеялись. Доктора тоже.

– Дмитрий Иванович, шоколаду, – подлетела к нему Розочка с новой чашкой.

– Ой-ой-ой, избавьте, сестрица... И так нашоколадился. Ей-Богу!.. Восьмую чашку, што ли?

– А вы еще! Ради рождения моего!

– Ну, вот разве что ради рождения. Давайте, куда ни шло, – и огромная рука Ярменко протянулась за чашкой.

И в тот же миг дружный взрыв хохота огласил комнату.

Чашка лежала разбитая вдребезги на полу, шоколад вылился, образуя липкую коричневую жижицу, а доктор Ярменко стоял с растерянным видом над чашкой и лужицей и говорил, смущенно разводя руками:

– Ну, разве ж я не говорил вам?.. Такая уж моя доля!.. А, шток тебя, и то разбилась, экая глупая чашка!.. Глупая и есть!

– А вы, сестрица Розанова, говорят, обладаете удивительным даром подражать? – с лукавой усмешкой обратился Семочка к Кате.

Сестры засмеялись.

– Правда, Евгений Владимирович, правда. Она всех сумеет изобразить в лучшем виде.

– Да неужели?

– Честное слово, правда! Хоть кого. Да так ловко – прелесть!

– И меня, пожалуй, сестра Розанова, изобразите? – поглаживая свои франтоватые усики, усмехнулся Семенов.

– Вас? – Катя лукаво прищурилась, потом задорно вскинула головку и, глядя в лицо Семочке смеющимися глазами, заговорила:

– Нет, Евгений Владимирович, уж увольте. Мне вас не представить никак. У вас нет ни одной такой черты, которую бы я могла подметить, – и, говоря это, она высоко подняла голову, втянула ее в плечи и, пощипывая пальцами повыше верхней губы, крупными шагами заходила по комнате.

Перед присутствующими, как живая, выросла фигура Семочки, его манера говорить, самый тон его голоса, походка, выражение лица.

– Bravo! Bravo! Ха-ха-ха-ха! Вот молодец-то! То есть как две капли воды похоже! – вспыхнул вокруг шалуньи гомерический хохот.

– Уморила! До смерти уморила! Фу! – заливался смехом Козлов. – Сестрицы, если умру от смеха, чур, на свой счет хороните.

Впрочем, не один Валентин Петрович «умирал» от смеха: и сестры, Фик-Фок, «семинарист» и даже суровый Аврельский – все они покатывались со смеху над проделками шалуньи.

От души хохотал и сам Семочка.

Едва успел утихнуть взрыв смеха, сопровождавший проделку Розочки, как с места поднялся немец и, любезно склонившись перед Катей в старинном рыцарски-вежливом поклоне, попросил ее своим изысканно любезным голосом:

– Если, мейн фрейлейн, будет угодно... то, пожалуйста, и меня представляйт, как на театре... Я не обижайт ни за что...

– Если, мейн фрейлейн, будет угодно, то, пожалуйста, представляйт, как на театре и меня, – неподражаемо копируя его поклон, манеру и изысканно вежливую речь, повторила Катя.

Новый взрыв смеха покрыл и эту шутку.

Еще не успели все опомниться, как лицо Кати все съежилось, все свелось в морщинки, губы отвисли, брови сжались, и она, заложив руки за спиной, забегала по комнате мелкими шажками, фыркающая, сплевывая в сторону и резким голосом закричала:

– Это не порядки, тьфу! Тут ска́чки, сапожный магазин, тьфу, кузница... тьфу, или цирк, я не знаю. Но только не больница... Почему не пахнет карболкой?.. Сколько раз просил души́ть карболкой! Тьфу! Тьфу! Тьфу!

Сестры фыркали и давились от смеха, сразу поняв, кого изображает эта юркая, подвижная и лукавая сестра-девочка.

Смеялись и доктора, косясь в угол дивана.

– Батюшки! Да ведь это я! Сам, собственной своей персоной! – не выдержал и расхохотался старый доктор Аврельский.

И странно было видеть трясущимся от смеха это обычно желчное, суровое, всем всегда недовольное существо.

Последняя препона сдержанности рухнула с этим смехом. Теперь сестры почувствовали себя совершенно равными докторам, а доктора, забыв свое привилегированное положение, – сестрам.

– А правда ли, сестрицы, что вы меня «старым козлом» величаете? – неожиданно выпалил доктор Козлов, добродушно-лукаво подмигивая направо и налево.

– Правда, Валентин Петрович, нечего греха таить, – с глубоким вздохом отозвалась «новорожденная».

– А меня «семинаристом», что ли? Как видите, знаю и сие, – пробасил к общему удовольствию Ярменко.

– А меня Семочкой. Не так ли? – покручивая усики, произнес красивый Семенов.

– Да, и еще по-другому, – скромно опуская глазки, произнесла Двоепольская.

– Как же еще?

– А этого нельзя сказать...

– Ши! Ши! Ши! – зашикали на нее сестры.

– То есть как это нельзя сказать? Разве что-нибудь дурное? – неожиданно захорохорился молодой врач.

– Не особенно, Евгений Владимирович... А сказать все-таки нельзя...

– Никто не скажет? – смеясь и слегка волнуясь, спросил Семочка, обводя глазами сгруппировавшихся у дивана сестер. Его взгляд встретился с вытаращенными простоватыми глазами сестры Смуровой, испытываемой курсистки, не отличавшейся особенной сметкой и умом.

– Может быть, вы можете сказать, сестрица, какое у меня еще прозвище есть? – обратился к ней Семочка с неподдельной мольбой в голосе.

– Я, Евгений Владимирович, могу... – брякнула Смурова, сделав испуганное лицо.

– Ну, как же? – медовым голосом допытывался Семенов.

– Молчите! Что вы?! – со всех сторон зашептали сестры.

Но Смурова уже не могла удержать того, что рвалось у нее с кончика языка.

– Ну? – Семочка смотрел просительно и умильно. – Ну, как же вы изволили прозвать меня?

Смурова еще больше округлила глаза, вытянула для чего-то трубочкой губы и, высоко подняв брови, выпалила на всю комнату:

– «Касторкой», Евгений Владимирович, «касторкой» прозвали вас!

И сделалась мгновенно красная, как свекла. Все почувствовали себя неловко, но Юматова, точно желая отвлечь внимание от выходки простоватой Смуровой, заметила:

– Господа, нехорошо так веселиться! Ведь не следует же забывать, кто мы и где мы!

– О, нет! – выступил горячо Козлов. – Не грех повеселиться и нам. Мы такие же люди, как все другие, и нет никаких решительно причин, чтобы не удовлетворить хоть раз в год свое желание пошутить, даже подурчиться немного. Не прав ли я?

– Конечно, правы, Валентин Петрович, конечно! – раздалось со всех сторон в ответ Козлову.

– Великий Шиллер сказал, что веселиться нужно каждому человеку и кто никогда не веселится, тот нехороший человек, – заметил Фик-Фок.

– Сказал он это или нет, все равно будем веселиться, – почти сердито произнес Козлов.

* * *

– Тише! Тише! Слушайте хорошенько!

Черненькая, смуглая Двоепольская настроила гитару, и первые звуки «Вітров буйных» поплыли по комнате.

Густой, мягкий бархатный голос «семинариста» покрыл дрожащие струны. Могучей волной пронесся он по комнате, вылился за дверь, помчался по коридору, по всему зданию общезжития, вырываясь в сад и на двор.

Ярменко пел с тем особенным залихватским хохлацким пошибом, с каким поют эту песню только прирожденные хохлы, дети вольной, когда-то свободной «Хохландии».

Все было в ней, в этой песне: и широкие, как золотое безбрежное море, степи, и шелест могучего ковыля, и шепот вишневых садочков и «чернобровые» Оксаны, вышедшие поболтать с парубками у зеленого тына...

– Віют вітры, віют буйны,
Аж дерева гнуться...

– выводил врывающийся прямо в душу, за сердце хватающий голос певца... Взволнованные, потрясенные мощью звуков и силой выражения, слушали все присутствовавшие с затаенным дыханием, с шибко бьющимся сердцем вольную, дивную, прекрасную украинскую песнь...

Звуки создавали широкие картины, рисовали знойный полдень, голубое небо Малороссии, забытую удаль запорожского казака...

Сладкое оцепенение очарования сковало головы, сердца, мысли и чувства... И так странно и дивно было видеть огромную, неуклюжую, вечно все бившую и портившую фигуру Ярменко теперь, в этом преображенном силой его песни вдохновенном певце...

Его глаза ушли далеко и видели, казалось, нечто недоступное другим...

– Фу, ты, шут возьми! Вот так штука! – точно пробуждаясь от сна, вскричал доктор Козлов, вскакивая с дивана, когда затих последний звук чарующей песни. – Или у вас, батенька, в горле спрятан Шаляпин, или я просто ничего не понимающий старый козел!

– Да что вы... что вы... Просто пою, потому что люблю пение, как любят его все у нас на Украине... – ронял как во сне Ярменко, казалось, еще не остывший от охватившего его вдохновенного «захвата», глядя мечтательно устремленными глазами куда-то вперед.

– А ну-ка, «новорожденная» сестрица Розочка (так, кажется, по прозвищу), спойте и вы нам что-нибудь.

Розочка не заставила старика доктора повторять его приглашение, встала на середину комнаты и весело, тоненьким, высоким детским голоском запела:

– Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно,

В роковом его просторе
Много бед погребено...

– Bravo! Bravo, Розочка! Bravo, – одобряли восхищенно присутствующие.

Веселье, искреннее, задушевное, ничем не стесняемое, царило в комнате...

Даже Юматова, глядя на оживленные лица присутствующих, думала про себя: «Доктор Козлов прав, надо и нам хоть изредка забыть, рассеяться от нашего тяжелого житья-бытья, от стонов и мук, которые мы слышим и видим дни и ночи! Надо набрать сил, чтобы продолжать наше великое дело – служение немощным и страждущим».

Но вдруг и музыка, и пение, и веселье – все разом оборвалось, затихло, когда неожиданно приоткрылась дверь комнаты, и в «десятый номер» общежития протиснулась голова служителя из мужской тифозной палаты.

– Ваше высокоблагородие, господин доктор, там больного привезли... скубента буйного... страсть... Пожалуйста в палату, дежурные сестрицы просят, – произнес он громким шепотом, не то испуганными, не то любопытными глазами оглядывая непривычную обстановку бала в обычно хмурой, грустной, серьезной общине сестер.

– Сейчас, Вавила, приду!

И доктор Козлов, наскоро вытирая пот, градом катившийся по лицу, и пожимая руки хозяевам и гостям, поспешил в барак, увлекая Семочку за собой.

Глава XIV

Ночь... Лампочка под зеленым абажуром едва пропускает свет... Чуть слышный, невнятный лепет, сонный вздох, болезненный выкрик бреда часто нарушают тишину...

Нюта движется быстро и бесшумно. Здесь, в мужской палате, дежурить труднее, нежели у женщин. Ей помогают сиделка и служитель. Тут по большей части лежат тифозные, а за неимением места (больница переполнена бесплатными пациентами), и с другими серьезными, но не заразными болезнями.

Темная длинная декабрьская ночь кажется бесконечной. Шорох Нютиных шагов не может потревожить больных. Измученные, изможденные, вытянувшиеся, как у мертвецов, лица поражают своей бледностью при слабом свете лампы. У других, напротив того, щеки горят темным болезненным румянцем. У этих горячка свирепствует с неудержимой силой. Дико блуждающие глаза, всклокоченные волосы и багровое лицо с надувшимися на лбу жилами одного из больных на крайней койке особенно смущают Нюту. Это самый беспокойный больной, доставленный сюда в вечер Розочкина рождения: молодой студент-медик последнего курса. У него жестокая горячка. Он все время без сознания. То рвется с постели, выкрикивая страшные, дикие угрозы и бешено сверкая горящими больным огнем глазами, то лежит по целым часам странно затихший, в глубоком обмороке, и с мучительной молодой настойчивостью борется со смертью. Его зовут Николай Кручинин, ему двадцать шесть лет.

Когда доктор Козлов обходил сегодня больных вечерним обходом, он особенно долго и тщательно осматривал молодого человека.

– Серьезное положение... Исключительно тяжелый случай, – бурчал он себе под нос и, кинув мимолетный взгляд на Нюту, сказал: – Ввиду особо резкого и быстрого хода болезни я ночью еще зайду, сестрица. Очень серьезный случай.

Нюта знала, что означали эти слова: по ночам Валентин Петрович навещал только особенно тяжелых больных, обреченных на смерть.

– Если заметите, что силы будут падать, сделайте ему впрыскивание камфары, – наказывал он, уходя. – А если снова начнет буяннить, прикажите надеть горячечную рубашку, сестра.

Больной, действительно, был беспокоен. Он бился то и дело на своей узкой койке и кричал:

– Отпустите меня... Что я вам пленник, что ли!?. Да выпустите же, вам говорят!

Нюта быстро подошла к нему, наклонилась над его лицом, худеньким, заканчивающимся мягко курчавившейся русой бородкой. Голубые глаза студента, такие светлые днем, теперь были черные, как уголья, и, глубоко запав в провалившихся орбитах, угрожающе горели горячечным блеском.

– Кто вы такая? – грубо, почти во весь голос, крикнул он Нюте. – Что вам надо от меня?

– Я хочу вам дать успокоительного, больной. Я сестра и пришла вам помочь.

– Что такое!? Вы – сестра, вы, ха-ха-ха! Ловко же вы обманываете меня... Какая же вы сестра... Вы – тюремщица. У меня есть сестра Сонечка... Она там, у матери, в деревне... А вы – моя мучительница... Вы мучите, терзаете меня... Зачем у вас нож в руке?.. Я вижу, о, я вижу отлично! Вы не проведете меня!..

– Бог с вами... что вы говорите, голубчик. Это не нож, а градусник, термометр... видите, я хочу измерить вам температуру, – тихим, кротким, увещающим голосом говорила Нюта.

Но больной уже не нуждался в объяснении. Он снова затих, впал снова в обычное продолжительное забытие.

Нюта смерила температуру тела, поднесла градусник к лампочке и ужаснулась. Ртуть показывала «41».

«Надо ванну», – мысленно произнесла Нюта и нажала кнопку электрического звонка.

– Позовите помощника и отвезите больного в ванну, – приказала она вошедшему служителю, бесшумно и несуетливо приготавливая больного.

Появились носилки, и Кручинина унесли.

* * *

Всю ночь билась с юношей Нюта.

Приходил доктор Козлов, дал новые предписания и, уходя, ободрил Нюту двумя-тремя ласковыми словами, но прибавил, что больной студент, очевидно, умрет. Нюта была как во сне. На Кручинина надели смирительную рубашку, так как он все метался, порываясь вскочить с койки и куда-то бежать, и Нюта никак не могла справиться с ним собственными силами.

В смирительной рубашке Кручинин снова затих.

Тоненьким, жалобным больным голосом он молил то и дело Нюту.

– Снимите с меня эту гадость... Не могу... она меня душит... Не буду больше метаться... Клянусь вам, никуда не уйду... Развяжите меня, руки, ноги... – А потом, снова впадая в забытьё, кричал: – Мама... Сонечка... Это вы? Я так рад, что вы приехали, так рад. Только отчего у тебя такие глаза, Соня?... Точно фонари. Или как у волка... Ты волк, Соня, настоящий волк... Пустите меня! Пустите!.. Душит меня, душит, помогите мне!.. – кричал он, обуреваемый безумием недуга, и его тело высоко подпрыгивало от постели.

Нюта ни на минуту не покидала его. Она давала ему успокоительное, меняла лед на голове, поила лекарствами. И добивалась-таки отчасти, что больной затихал.

* * *

Больной затих. Он так трогательно просил освободить его от смирительной рубашки, что Нюта не могла отказать ему и развязала руки и ноги молодого человека. Теперь, после прохладной ванны, температура тела спала, и юноша как будто задремал. Несколько успокоенная этим, Нюта могла хоть немного отдохнуть, присесть на стул и насладиться коротким покоем. Оправив сбившееся одеяло на соседе Кручинина, старике мастеровом Федорове, считавшемся выздоравливающим, напоив проснувшегося молодого извозчика Микутова, Нюта не без удовольствия опустилась на стул. Ее усталые ноги ныли... Голова, отяжелевшая от бессонницы, клонилась на грудь... Веки сами собой опустились... Она не дремала, нет... а только отдалась охватившему ее сладкому состоянию покоя.

Чья-то грубая, жесткая рука опустилась на плечо девушки. А сипловатый мужской голос произнес у ее уха:

– Небось... устали... измаялись... сестрица Анна.

Нюта вздрогнула и открыла глаза.

Перед ней стоял больничный служитель Дементий, недавно только поступивший в общину. У этого Дементия были неприятно бегающие, словно все чего-то выискивающие глаза и не то хитрая, не то многозначительная улыбка. Уже не раз наблюдала Нюта, что подозрительно бегающие глаза нового служителя подолгу останавливаются на ней, а тонкие губы улыбаются сочувственно, насмешливо и лукаво. Он почему-то с первой же встречи стал ей антипатичен.

Сейчас этот взгляд, эта улыбка как-то особенно неприятно подействовали на Нюту.

– Уморились, сестрица Анна... И то уморишься... целую ночь на ногах, – произнес он тем же неприятным тоном.

Точно горячее пламя упало в сердце Нюты и обожгло его.

– Меня зовут не Анной, а Мариной, – помимо воли сорвалось как-то испуганно с ее губ...

– И то... и то... простите, ошибся маленечко, сестрица и... впрямь Марина... Что же это я путаю, старый дурак, – как-то особенно угодливо захихикал и залезбил старик.

Но Нюте показалось, что глаза его остановились на ней сейчас особенно внимательно настойчивым, дерзким и как бы насмешливым взглядом. Они точно смеялись, эти маленькие, бегающие, неприятные глаза.

«Неужели же узнал, догадался. Неужели же... Но как, каким способом мог он узнать?» – испуганно билась мысль в мозгу взволнованной девушки. Или это случайная обмолвка, ошибка... Она терялась в догадках.

– А я к вам с просьбишкой, сестрица, – залезбил снова неприятным своим тоном Дементий, – отпустите вы меня малость соснуть... Мочи нет, притомился. А коли понадобится что, позвоните, и я тут как тут.

Нюта знала, что просьба служителя являлась незаконной; до трех часов ночи никто из дежурного персонала не смел ложиться, но неприятно-пытливые глазки Дементия, его многозначительно насмешливая улыбка допекали Нюту, и она, желая во что бы то ни стало отделаться от антипатичного старика, скрепя сердце дала ему свое разрешение.

– Спаси вас Бог, сестрица Анна... то бишь, опять я ошибся, Марина, – произнес, суетливо кланяясь и лебезя, Дементий. – Сосну за ваше здоровье часок... другой...

И приводя в несказанное смущение бедную девушку, он, тихо крадучись, на цыпочках вышел из палаты.

А Нюта с тревожным чувством снова откинулась на спинку стула, стараясь не думать ни о чем.

* * *

Усталость взяла свое... Отяжелевшие веки упали на глаза... Какое-то сладкое оцепенение охватило девушку. И, сама того не замечая, Нюта задремала.

Это была не дрема, впрочем, а какое-то легкое забытье... Представлялась с поразительной ясностью картина недавнего прошлого: японская гостиная, tante Sophie, гости, смеющееся, делано-наивное личико Женни, длинная Саломея, мохнатый милый Турбай... и она сама, Нюта... Послышалась французская болтовня, смех, шутки. И вдруг морозная резкая струя воздуха наполнила больничную палату... Она дотянулась до Нюты, охватила ее всю, уколола своим студеным дыханием. Девушка сразу очнулась, пришла в себя. То, что увидела перед собой Нюта, заставило мгновенно ее сердце наполниться ледящим душу холодком. В углу палаты находилось узкое, высокое одностворчатое окно; герметически плотно закрытое и открывавшееся лишь для вентилирования воздуха раз-другой в неделю. Теперь, к полному ужасу и удивлению Нюты, окно это было раскрыто настежь, а на подоконнике его, в длинном больничном халате, кое-как накинутом поверх белья, стоял Кручинин лицом к улице, с протянутыми вперед руками.

Свет месяца обливал всю его фигуру, всклокоченную голову и белый, как мрамор, профиль, повернутый к Нюте.

Мужское тифозное отделение находилось в третьем этаже дома, и окно приходилось как раз над каменными плитами дворового тротуара, чуть запушенными снегом.

Помимо всех опасностей от морозного зимнего воздуха, больной горячкой студент Кручинин должен был неминуемо разбиться, упав на камни. Вне себя, вмиг сообразив все это, Нюта вскочила со своего места и бросилась к окну.

– Сходите вниз, больной! Сходите вниз! – крикнула она, хватая за руку Кручинина и всеми силами стараясь стащить его с подоконника и захлопнуть окно.

Но сильный и ловкий, весь в пылу горячки, придававшей сверхъестественную, бессознательную энергию его телу, больной студент оттолкнул Нюту и ближе подвинулся к наружному

краю окна. Его глаза сверкали теперь безумием, тем самым безумием горячечного припадка, какое Нюта уже видела однажды в глазах маленького Джiovанни в ту роковую осеннюю ночь, а на искривленных плутоватой сумасшедшей усмешкой губах проступала пена. Еще минута – он сделает шаг и выскочит за окно... Удержать его нет силы... Это не Джiovанни, девятилетний мальчик, которого можно взять на руки и унести.

Мало отдавая себе отчета в том, что произойдет в дальнейшем, Нюта, осененная внезапной мыслью, вскакивает на окно, расставляет широко руки и, вцепившись ими в косяк рамы, заслоняет юноше путь...

Больной в смятении... Неожиданная преграда в лице этой тоненькой сестры, заградившей ему дорогу, на мгновение останавливает его болезненно-инстинктивное стремление во что бы то ни стало выскочить из окна. Но это лишь минутное колебание...

Притупившийся, измученный мозг снова закипает с бешеной силой, снова прожигает его насквозь безумная мысль. «Надо столкнуть вниз живую преграду и очистить себе дорогу во что бы то ни стало, во что бы то ни стало!» – вот что твердит ему эта безумная мысль.

Он простирает вперед руки, в то время как губы его закушены острыми зубами до крови, а безумные глаза выкатились из орбит.

– Пустите меня! Прочь с дороги! Пустите! – кричит он и изо всей силы толкает из окна Нюту.

Еще минута... секунда... короткий миг, и девушка разобьет себе череп о каменные тумбы и плиты тротуара...

– Сестра Трудова!.. Что случилось?

Перед лицом Нюты мелькают испуганные черты сиделки, доктора Козлова, Семенова.

Сильные руки хватают Кручинина, стаскивают его с окна, укладывают в постель, предварительно снова надев смирительную рубашку. Другие помогают Нюте сойти с подоконника, захлопывают окно, усаживают девушку на стул...

– Испугались? Небось, душенька в пятки ушла. Нет? Ну, молодец же вы, сестренка, – роняет подле нее добрый, сочувственный голос, и встревоженное лицо старого врача склоняется над ней. – Ничего... ничего... это бывает, сестрица... тифозная горячка – самая благоприятная почва для подобного рода безумия... А и молодец же вы, сестрица, не испугались... Догадались-таки, как дорогу отрезать этому озорнику. Спасибо, голубушка, – шутливо заключил Козлов, пожимая ей руки.

Но Нюта смущенно поникла белокурой головкой, не слушая этих похвал.

– Ах, нет, не молодец я, Валентин Петрович, – с горечью вырвалось у нее, – не благодарите вы меня... Ведь не задремли я на минуту, сторожи я Кручинина неотлучно всю ночь, этого не случилось бы вовеки, – прошептала она, исполненная горечи и раскаяния.

– Пустое! Все равно случилось бы... Вам, слабенькой девушке, вряд ли удержать бы этого молодца... А теперь поспешим к нему, к доктору Семенову, на помощь. Плохо, верно, придется больному после воздушной ванны. Идем.

Кручинину, действительно, приходилось плохо. Он уже не стонал, не кричал, не метался на кровати. Он лежал почти без пульса и только дышал со свистом, сильно, отрывисто и горячо.

Доктора склонились над ним. Нюта им помогала.

На душу девушки упала свинцовая тяжесть. Совесть мучила ее... Мучил страх, что Кручинин умрет из-за ее недосмотра.

Незаметно проползла ночь, которую Нюта провела у кровати больного, не отходя ни на шаг. Под утро пришла очередная сестра сменить Нюту.

– Нет, нет... ради Бога... Я не найду себе покоя, если я уйду из барака теперь, сейчас... оставьте меня, – молила она докторов и сестру.

– Но вы утомитесь, с ног упадете, – протестовали они.

– Нет, нет! Прошу вас, умоляю.

И она осталась. Весь следующий день осталась, всеми правдами и неправдами упробив вторую смену позволить заменить ее.

И на ночь тоже.

К утру вторых суток Кручинину, отчаянно боровшемуся за свою молодую жизнь, стало вдруг легче. Температура спала, показалась испарина. Забегавший сверх очереди Козлов (он по несколько раз в сутки заходил помимо службы, без обхода) объявил Нюте счастливую новость.

– Ну, теперь будет жить наш озорник. Успокойтесь, сестрица. Идите с миром домой да заваливайтесь на боковую... А мне кого-нибудь другого пришлите... Ишь, лицо-то у вас: краше в гроб кладут. Ну, веселых снов! Уходите с Богом, а не то рассержусь и силой выгоню вас из барака, – шутил он, а добрые глаза старика ласкали Нюту отечески заботливым взглядом.

Кручинин спал, дыша глубоко и ровно. Его железная натура поборолa смерть.

Шатаясь от усталости, вернулась Нюта к себе, наскоро приняла ванну и уснула, как убитая, едва лишь опустилась на кровать...

Глава XV

Дни тянулись бесконечной пестрой вереницей, выводя лентой события одно за другим, одно за другим. Подступали святки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.